

ПОЭЗИЯ - 46 ● 1986



46
1986
ПОЭЗИЯ
АЛЬМАНАХ





МОСКВА
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
1986

ББК 84(0)6
П 67

РЕДАКТОР Николай СТАРШИНОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Зайцев Г. В., Куняев С. Ю., Львов М. Д., Осетров Е. И.,
Старшинов Н. К., Фокина О. А.

П 470100000—320 239—86
078(02)—86

46

АЛЬМАНАХ

1986

ПОЭЗИЯ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ“
1986



СОДЕРЖАНИЕ

ВСЕГДА В ПУТИ

Виктор Кочетков	6
Евгений Винокуров	10
Алексей Мишин	11
Александр Балин	13
Татьяна Сырыщева	16
Глеб Горбовский	18
Владимир Костров	20
Лариса Васильева	22
Иван Кашпуров	27
Вадим Ковда	29
Михаил Синельников	30
Иван Жданов	32
Виктор Гаврилин	37
Владимир Емельянов	39
Руслан Ацканов	42
Галина Безрукова	44
Александр Ткаченко	45

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Александр Казинцев. «Схороненное выдохнув тепло».	47
Анатолий Устьянцев	50
Маргарита Котомцева	52
Ксения Фирсова	53
Таир Асланлы	54
Раиса Котовская	56
Корнелия Войткевич	58
Андрей Вершинин	60
Любовь Стоянова	61
Насиб Набиоглы	63
Марина Князева	65

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Станислав Куняев. Время. Пространство. Слово...	66
Сергей Марков	67
Леонид Мартынов	71
Людмила Калинина. Окно поэта	75
Александр Люкин	78

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Юрий Болдырев. Поэзия — это человек	82
Геннадий Калашников	87
Евгений Артюхов	89
Валерий Токарев	92

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Инна Ростовцева. «Темна и глубока человеческая сказка»	94
Алексей Прасолов	95

МАСТЕРСКАЯ

Никита Заболоцкий. О замысле Н. А. Заболоцкого перевести немецкий эпос	104
Сергей Мнацаканян. «Польный» поэт	105
Михаил Дудин	112

ВСЕГДА В ПУТИ

Алексей Рогов	114
Алоиз Крылов	116
Равиль Бухараев	118
Вениамин Бутенко	119
Виктор Кирюшин	121
Ирина Моргулева	123
Виктор Вишняк	125
Борис Ластовенко	127
Вадим Сабинин	128
Карен Джангиров	129
Анатолий Вершинский	130
Майя Быкова	132
Валентина Андриуц	134

МАСТЕРСКАЯ

Александр Бобров. Золотые точки	137
Надежда Чертова. Моя Ксения (Воспоминания о К. Некрасовой)	140

У НАС В ГОСТЯХ...

ПОЭТЫ ИРКУТСКА

Виктор Соколов	148
Леонид Хрилев	149
Ростислав Филиппов	150
Владимир Скиф	151
Василий Козлов	153
Владимир Корнилов	155

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Хлыбов	156
Анатолий Кобенков	157
Вгений Варламов	158
Теонид Лебедев	159
Иван Козлов	160
Александр Калужский	161
Юрис Архипкин	161
Маргарита Дюкова	162
Елена Яговкина	163

ЮЭТЫ ПЕНЗЫ

Александр Сазонов	164
Георгий Крылов	165
Дина Злобина	166
Элег Савин	167
Алиаил Кириллов	168
Николай Куленко	169
Виктор Агапов	170
Тариса Яшина	171
Владимир Подольский	173
Тариса Качинская	174
Алексей Немов	175

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Михаил Кудинов. Вольтер и Бастилия	176
Эмили Дикинсон	180

В КОНЦЕ НОМЕРА

Антон Горлышков. Про стихотворные обмороки, сердце под полой и скамью обиды, или О полезности глядения на мир сквозь лопухи	186
---	-----

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС...

Андрей Мурай	189
Ефим Самоварщиков	189

Всегда в пути

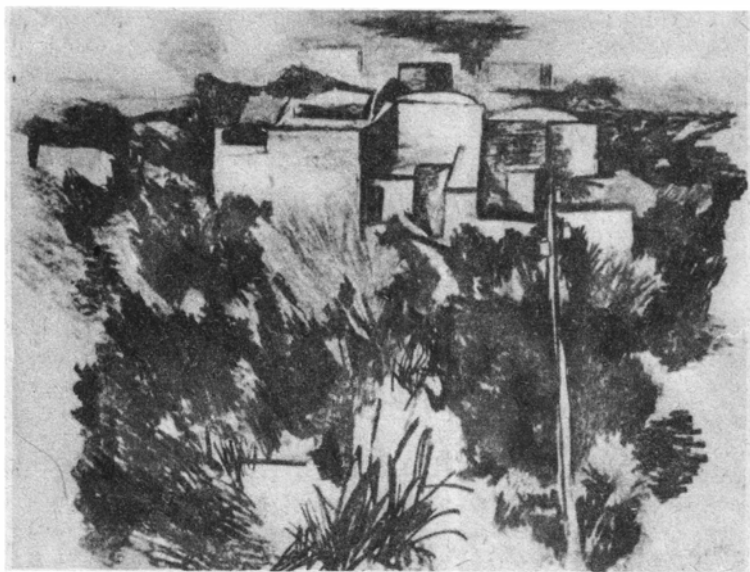


Рис. Р. ГУТТУЗО

ВИКТОР КОЧЕТКОЕ

Родился в 1923 году в деревне Балахоновке Куйбышевской области. Участник Великой Отечественной войны.

Первые стихи публиковались во фронтовой газете.

Окончил Кишиневский государственный университет. Автор многих поэтических книг и книги прозы.

* * *

Гляжу с надеждой фильмы

который год — хотя надежды

а вдруг расщедрятс,

о войне

мало,—

а вдруг покажут мне
и ту войну, что жизнь мою ломала.

Ту, где наш полк Оскол оборонял.
Где мы затишья ждали, как гостинца.
Ту, что на пленку памяти я снял
бессонными глазами пехотинца.

ЮЛКИ

Толгода протоптавшись на Дону,
юйна на запад двинулась устало,
лорозную засеяв целину
шметками сожженного металла.

Она шагала вьюжным большаком,
ю вымершему зимнему Задонью,
держала путь на Харьков напрямиком,
иропашшая пороховою вонью.

А вслед за ней,
из снежной пелены,
как призраки внезапно вырастая,
или, крадучись, нахлебники войны,
тепных волков жирующие стаи.

Юсю живность на восток гнала беда.
А зверь и птица кинулись за Волгу.
Тришлась по вкусу смертная страда
тишь ворону, стервятнику да волку.

А молодняк и перестарки все,
пройдя ночами тысячные тропы,
з прифронтовой сходились полосе
о всех чащоб, со всех яруг Европы.

Трислушиваясь к гулу батарей,
эни в оврагах дотемна пластались,
окуля от нетерпения: «Скорей!»
Тоскольку человечиною питались.

З часы затишья выла тишина
и эхо долго по степи бродило.
Не волки, мнилось, а сама война
омертвелою тоскою исходила.

* * *

Не павшим —
Был я без вести пропавшим.
Час под Мерепфой немец
прищемил.
З сыром бараке, плесенью
пропахшем,
арийских вшей три месяца кормил.

А за баракон зеленеет поле,
прохладой и свободою маяя.
Среди живых не числился я боле,
и в списке мертвых не было меня.

Я был из тех — в пословице — иголок,
что в стоге не сыскать и семерым.
Ефрейтор из Мангейма Отто Полак
был дьяволом-хранителем моим.

Я раздражился с человеческой речью.
Собачий лай меня сопровождал.
Лишь пятизначный номер
на предплечье
мою неповторимость подтверждал.

Как будто жизнь, что билась и гремела
железом на двенадцати фронтах,
меня уже в расчете не имела,
как ржавый штуцер, брошенный
в кустах.

Как жаждал я окопной муки
прежней.

Как понял я, исхлестанный войной,—
нет ничего страшней и безнадежней
безликости вот этой номерной.

Бежав из плена, встретясь со своими,
я возвращался из небытия.
И первое, что я услышал: имя?
Вновь человеком становился я.

* * *

Непривыкшие к громким реченьям
(Как по Тютчеву жили: «Таи!»),
только глаз осторожным свеченьем
выдавали мы чувства свои.

В наших письмах, потомок, не ройся,
ты в них формул любви не найдешь.
В недомолвках искала геройство
довоенной поры молодежь.

Не в прощальном чаду на вокзале,
у родных и друзей на виду,

в первый раз те слова мы сказали,
в госпитальной палате, в бреду.

* * *

Он ростком пробился тонким
сквозь немалые года,
крик гортанный вороненка,
выпавшего из гнезда.

Над рассветной пеленою,
над селом Каразерик,
далеко по-за войною
раздается этот крик.

Только эхо с гор стекает,
дол за долом полоня,
будто детство окликает,
поседевшего, меня.

ПУШКИН В ПУРКАРАХ

Рассвет. Излучина Днестра.
Молдавский дом
старинной кладки.
Телега посреди двора.
За клуней рыжие хохлатки.

Зерном наполненный чувал.
Резные тени на веранде...
Когда-то Пушкин ночевал
здесь с подполковником
Липранди.

За этим вековым столом,
на утреннюю глядя реку,
о будущем иль о былом
он говорил знакомцу-греку?

Чему была посвящена
та мимолетная беседа,
в какие рвался времена
глазастый лирик-непоседа?

Какой пленял его герой,
манил походными кострами,

ведь Таврия не за горой
и Греция не за горами.

Молдавский соловей в кустах
высвистывал коленца пылко.
А где-то рядом, в трех верстах,
была Овидиева ссылка.

И журавлиная строка
вписалась в дымчатое небо,
и все кочевники-века
прошли дорогою дулеба.

Кому он место в сердце дал,
какие рисовал картины?
А может, просто наблюдал
за легким лѐтом паутины.

За тем, как ластилась река
к кустам прибрежной гонобели,
как тихо плыли облака,
как тихо тени голубели.

* * *

Отменный выдался денек
во всем июньском блеске.
С утра свистит лесной конек
в тенистом перелеске.

На солнце нежится, шурша,
подсолнечное поле.
И распрямляется душа
от долгой-долгой боли.

Как тот упрямый чернобыль,
как тот татарник пегий,
что переехан ночью был
колесами телеги.

* * *

Сперва живем,
не замечая глуби,
все плоским кажется,
на что ни погляди

как в том спектакле в деревенском
клубе,
где лишь одна кулиса позади.

В событиях нам открыта лишь
поверхность —
в делах и людях видимость одна.
Тривичная, убогая двухмерность,
знакомые длина
и ширина.

Мир, как рисунок детский на бумаге,
где все себя с усилием узнает,
где молодой заносчивой отваге
правдивости простой недостает.

На скольких надо подорваться минах,
какие ж броды надо перейти,
чтоб вдруг открыть
скульптурный образ мира,
чтоб третье измеренье обрести.

Родился в 1925 году в Брянске. После девятого класса ушел добровольно на фронт. После войны окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор 60 книг, среди которых — «Синева», «Стихи о долге», «Признание», «Лица человеческого», «Серёжка с Малой Бронной», «Жребий» «Благоговение» и другие.

* * *

Ну что же,
это мировой закон!..
Ничто на свете
устоять не может,
любого человека
в мире он
когда-нибудь, а все же
уничтожит.
Но посреди невечного подчас
приходит к человеку
мысль украдкой:
о невозможной вечности печась,
жить стоит только
в этой жизни
краткой.

* * *

Он зарыт был на круче
порой предрассветной...
Только труп опустили
в осеннюю грязь,
дали залп,
и торжественною легендой
жизнь его на земле
началась...
В чернолесьях, продутых
сквозными ветрами,
среди солдат,
отложивших на время дела,

над вечерними медленными кострами
в синем дыме она
поплыла.
Полетела в теплушках дорогою
тряской
закачалась на седлах
и, кончив поход,
стала вдруг она тихой
казарменной сказкой,
той, что после отбоя
уснуть не дает...

* * *

Из пророческих уст
мир узнал
о сражении странном:
это начал Ормузд
бесконечный свой бой
с Ариманом.
Бесконечна игра,
схватка вечная
света со мглою...
Это сила добра
вечно борется
с силою злою.
Вечно будем должны
мы давать
в годы детства обеты
меч не прятать в ножны
до всемирной
последней
победы...

Родился в 1936 году в деревне Зуевке на Смоленщине. Окончил Рославльский техникум железнодорожного транспорта, Смоленский педагогический институт. Работал на Севере. Служил в Советской Армии. Автор поэтических книг «Кольца», «Жарынь» и других.

РАПИВА

ползает в овраг по кюветам,
тоит,
ловно страж под окном.
се тянется жгучая к свету,
се жжет холодящим огнем.
топчут ее и пинают,
о плеткой,
о палкою бьют.
рапивой мальчишек пугают,
равою нахальной зовут.

помню, не больно игривы,
лы, дети, на ровном лужке
листочки вареной крапивы
ловили в дымящем горшке.
Шапками в хаты носили,
дельчили солдатским ножом,
шшили ее, и месили,
ели, не морщась, потом.

выжили,
то еще надо,
какой еще нам белены?..
рапива была, как награда,
ездомным мальчишкам войны.

лы черпали кружкой и ложкой,
от вкус я не в силах забыть.
асти,
ызревай под окошком,
презренное чудо судьбы.

ТОЮ ПОД РОДИМОЙ БЕРЕЗОЙ

тою под родимой березой
слушаю молча под ней,

Как плачут зарею морозной
Полозья кленовых саней.

Восходит луна на задворках,
Сквозь свет проридается звук:
То падает глухо ведерко
В родник
Из остуженных рук.

Зарянка горит над оврагом,
Означилась прорубь реки.
И грохают двери сельмага,
И где-то поют мужики.

Но там,
Где с прицепом бидоны
И запах парного разлит,—
Забитая хата Матрены
На звезды ущербно глядит.

Как много и звуков, и света,
Забот и печали в селе.
Когда б мимо сердца все это,—
Зачем я тогда на земле?

ЛЕСА

Не верьте, люди,
Что леса
Глухи к земным заботам нашим.
В лесах сокрыты чудеса,
Их щедрый смысл не приукрашен.

Не омрачает лес покой,
Но если грянет неприятность —
Морзянкой звонкою, живой
Округе всей расскажут дятлы.

Под крышу спрячет дуб-добряк,
Постелет ветки ель-старушка.
И будет ночь светить светляк,
На завтрак выведет кукушка.

Чисты леса.
И в грозный век
Они для нас живут высоко.
И ты, разумный человек,
Зачем изводишь их жестоко?

ДОМА

Закатилось лето
За леса, за доли,
Осень незаметно взяла в руки власть.
И листок трепещет
На осине голой,
На сырую землю не желая пасть.
Мать моя старушка,
Что так дышишь тяжело?
Завари-ка чайник луговой травой:
Нежною душицей,
Зрелую ромашкой —
Посидим да вспомним
Век нелегкий твой.

Пьем, жуем баранки
С ароматным хрустом,
Вроде нет счастливей
Нас двоих сейчас.
Только сердцу — тяжело,
Только думам — грустно,
Словно вижу маму
я в последний раз
Закатилось лето
За леса, за доли.
И тоскливо смотрит за окошко мать,
Где листок лепечет
На осине голой,
Да, видать, не долго
Будет лепетать.

* * *

Упал под зеленой ольхою
На коврик немятой травы.
И тронул ромашку рукою,
И выпил глоток синевы.
Послушал шмеля золотого,
Забыв про житье-бытье.
И песенной сутью бывшего
Насытилось сердце мое.

Родился в 1925 году в селе Раменье Волоколамского района. Участник Великой Отечественной войны. По окончании войны закончил вечернюю школу рабочей молодежи и Московский областной педагогический институт. Работал кузнецом на заводе «Динамо». Автор многих поэтических сборников.

* * *

Россию надо заслужить...

Каюсь, жаль мне людей, что не ведают, как я хорош,
Что цена мне не грош,
А серебряный рубль полновесный...
Победил я войну и посеял счастливую рожь,
Что под осень свой колос взметнула ко сфере небесной.

Подковал я коней,
Чтоб не падать родимым на льду
И не вздрагивать крупом под окриком наглым и грубым...
Не себе, не на грудь,—
Отковал я ночную звезду,
Чтоб в полярную полночь светлее жилось лесорубам.

Я кохаю внучат и друзей залучаю к столу
На «Индийский» чаек,
На безвинный паек ветерана...
И бессмертье любви восседает в переднем углу,
И сокрыта рубахой вчерашняя рваная рана.

Все богатство свое:
Силу рук и науку души
Отдаю безвозмездно опять же в душевные руки...
«Ну а люди?»
— Что люди? —
Отменно они хороши,
Хоть на данном этапе маленько они близоруки.

* * *

Суставы себе, родному,
Выламываю,—
Болят...
Я мог бы запеть по-иному,

Мог бы,
Да не велят.

Вовсе не критик дошлый,
А годы мои,
Года...

Признаться, я очень прошлый.
Вот ведь какая беда.

Вот ведь какая штука.
Дождик стучит в стекло.
От доброго, мокрого стука
На сердце моем тепло.

Сердце одето в надежду,
Словно бы фляга — в сукно.
Кстати, иную одежду
Знать не желает оно.

Надежда... Светляк в кювете
Горит сквозь гудронную мглу...
Мне без нее на свете
Как босиком по стеклу.

* * *

Жизнь получилась,
Устроилась,
Вышла

* * *

Здравствуй, светлый четверг! Ты поверг меня во изумленье,
Что настал наконец, наступил, зов души моей предвосхитя.
Да простят мне грехи и твоя грациозность оленья,
И нескорбный твой взор, как пречистые струи дождя.

Очищенья взалкать,— что ж, потребность как будто простая:
Не причастен к злодействам ни с той, ни с другой стороны,
Стойким корнем полынным в кремневую почву врастаю,
Чужа смертною плотью всегдашнюю тяжесть вины.

В чем она и за что мне двоит мой уставший рассудок?
Все храбрился, портняжка, а сумел сохранить хоть одну?
Чую я, как журчит в травяных и древесных сосудах
Кровь моей ненаглядной у вечности в черном плену.

Ах, как к солнцу стремятся ватажки весенних травинок!
Осветили бетон, босяками залезли в полезный хлебам перегонной...
Ну на что мне она,
Тьма моих бесполезных кровинок?
И метель седины — за навеки ушедшей женой?

В волоковое оконце избы,
Значит, нет смысла одерживать дышло
Серых лошадок вздымать на дыбы.

А ведь летелось,
Летелось,
Летелось
По гололеду, по голому льду.
А ведь хотелось,
Хотелось,
Хотелось
В небе высоком увидеть звезду.

А ведь хотелось...
Да глазыньки долу
Сквозь сизовато-молочный туман...
Небезопасный заряд валидолу
Суну на счастье в нагрудный карман.

Впрочем,
За счастьем шарахаться глупо,
Как и бежать от юдоли земной...
Кто-то черпак чечевичного супа
В драчке ленивой разлил надо мной.

Кто сказал, что про боль не орут, не вопят, не трезвонят?
Чистоплюйство геройства, а мне на такое — плевать...
Верю, светлый четверг, что тобою я правильно понят,
Чтоб в злокозненный час полегче глаза закрывать.

* * *

А все же грустно жить: уже предел души
Так виден явственно, что нам не обмануться...
Лишь в молодости мы бесстрашно-хороши,
Когда шумит камыш,
Когда деревья гнутся.

Своих учителей оплакав и почти
Забыв про их урок, не вдруг мы замечаем,
Что чей-то добрый свет мы пользуем в пути,
А сами никого,
Ничто не освещаем.

Прощения просить за седину виска?
Пожалуй, что пока в работе безотказен...
Учители мои,
Шеренга их строга —
А. Яшин, М. Светлов, Я. Смеляков, В. Казин.

Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихотворений «Бересклет», «Зеленые рукава», «Минуты станут веком», «Скажу нечто». Член Союза писателей. Живет в Москве.

* * *

Все, чем почва лесная богата,
все выходит весной из земли.
Красновата серьга гравилата,
к ней жужжа подлетают шмели.
Зеленеют травинки колонны,
как солдатики, все наравне,
а хохлатка цветет отчужденно,
от растений других в стороне.

Пусть ничто не нарушит покоя
этой самой родной из планет!
Пусть всегда будет солнце такое —
свет посева и щедрый ответ!
И листва в свое время завянет,
и в стекло превратится вода...
И в пучину войны не заглянет
человечество впредь никогда!

* * *

Телевиденье мое ночное!
Жизнь как будто под водой, на дне.

Все, что было наяву со мною,
странно перестроено во сне.
Берег моря, городские горы...
(Памяти родник, не оскудей!)
Лестницы, балконы, коридоры,
люди, люди... Множество людей!
Все, как было, но чуть-чуть иначе.
Недрузгов, друзей, знакомых сонм.
И смеюсь, и мучаюсь, и плачу...
Неужели это отдых — сон?

А сегодня кром крутой, беленький
снился мне: в Москву заехал Псков.
И была я в красоту влюбленной
стен его раскосых, поясков.
Ездил я вволю по Отчизне,
оттого и снятся мне всегда
уносящие меня, как в жизни,
связанные с далью поезда.
Нет в моей Избе экранной дрожи,—
лишнего пока не завожу.

На мельканье лиц, что с кем-то

схожи,

до рассвета, досыта гляжу.

ПОДРОСТКИ

Прошли диковатою стайкой ребята —
народец сплоченный такой.
И вспомнила я, как возникли зубрята
когда-то в бору над Окой.
От детства отстали, к большим не пристали...
Бредут... Куда хочешь — иди.
Сродни им заречные синие дали,
ведь целая жизнь впереди.
Прожить ее — то ли, что мягкое поле
весенней порой пересечь?
К труду приучают их сызмала в школе,
богатую дарят им речь.

Небрежно слова рассовав по карманам
(расходовать рано пока),
в молчании бродят по тропам туманным
в бору, за которым — Ока.

СИНЯЯ ПТИЦА

Лазоревка сумерки выбирает,
когда в синеве растворяются ветки,
в минуту лазоревую прилетает
и что-то находит в капроновой сетке.

Люблю больше всех эту гостью теперь я,—
ее непоседливость, птчиьи уловки,
на склоне крыла светло-синие перья
и синюю шапку на плоской головке.

Давно я о синей не слышала птице!
Лазоревка близко, почти под рукою,
а синяя птица на скалах гнездится,
окрашена теплою далью морскою.

ОСЕНЬ В ДУБКАХ

Золотые ворота передо мной:
клены, клены и барбарис.
Я вошла —
и закрылись они за мной,
мрак дубовых ветвей навис.

На дубах
собираются галки спать.
Сколько выросло здесь галчат!..
На дубах им, наверное, тесно спать,
вот и спорят они, кричат.

А трава еще зелена, зелена,
листья сверху слетают к ней.
Первый снег
почувствует скоро она,
зимний ветер скользнет по ней.

Будет парк
этим ветром насквозь продут,
все глубины станут светлы.
Золотые ворота падут, падут,
обнажая кленов стволы.

ТРАВА-МУРАВА

Говорю траве-мураве:
«Отчего ты растешь в Москве?
Ты ведь спутница деревень,
не нужна тебе башни тень.
И от солнышка прок не тот:
позже встанет, раньше зайдет.
Сей ты здесь семена, не сей —
не увидишь друзей-гусей...»

Отвечает мне мурава:
«Я имею на то права,
чтобы в городе этом жить,
с воробьями его дружить!
Ты в те годы была мала,
когда здесь деревня была...
Ног разутых простыл и след,
и колодца из бревен нет.
Речка, что умеряла зной,
по трубе течет под землей.
Все другим стало: жизнь и труд,
только травы растут, цветут,
и старухи в досужный час
вспоминают, как звали нас.»

Родился в 1931 году в Ленинграде. Автор нескольких книг стихотворений и прозы, в том числе «Поиски тепла», «Возвращение в дом», «Черты лица».

СУМЕРКИ

Светлеет в мыслях грусть,
темней реки течение.
Я знаю наизусть
луны предназначенье:
морочить — не светить,
сопутствовать — не значить.
Пусть рвется жизни нить,
коль жить нельзя иначе!
Не в землю упаду,
не в ад сойду кромешный,
но — в сумерки войду,
где сладок воздух вешний.
Восславлю, как мечту,
блажь Памяти любую
и в сумерки войду,
как в рощу голубую!

ЧИСТАЯ ЛИРИКА

В минуты жизни неслучайные,
оставшая в кругу людей,
душа наполнится звучанием,
стряхнет окалину страстей
и вся, как дерево плечистое,
зеленый — к небу —
вздыбит лик!
И только музыка пречистая
ее венчает в этот миг.
Но... только миг.
И вновь —
внимательна,
и вся, насквозь, живая вновь.
И крик ребенка или матери
ее волнует, как любовь.
И ни в себя играть не хочется,
ни в чистословия игру...
И гаснет ересь одиночества —
свечой оплывшей на ветру.

ЧИБИС

Чибис голосом плаксивым
просит пить... Унылый тон.
Звук с кислинкой, жалкий, сирий.
Крик, а правильнее — стон.

Завтра дождь. Истомой тянет.
Кличет чибис. Воздух густ.
На болоте клюква вянет.
Без дождя — орешек пуст.

Сладко жить. Копить приметы.
Опускать в ручей бадью.
И молитвенно с рассветом
подставлять лицо дождю.

* * *

В моем мозгу,
как в недрах камелька,
трещат дрова познаний и сомнений.
И плавно тает иней у виска
от музыки огня и песнопений.

В моем мозгу, уставшем от утрат,
сгорают ласки жизни и гримасы.
И голубой в окне моем квадрат
сереет сентябрем, как поздний разум.

В моем мозгу, исполненном проказ,
уж нет надежд, но есть еще веселье!
И свет окна, и свет любимых глаз,
как прежних чар лишившееся зелье...

СЛОВО

Как будто муха в янтаре,
нетленно слово,

исторгнутое на заре
пути людского.

Скульптура мысли! На ветрах
событий встречных
не обратилось слово в прах,
шагнуло в вечность.

Германцев, русичей, монгол,
всех душ скопленье
хранит не пуля, но — глагол! —
от истребления.

Иной народ возник и сник,
как непогода,
но бродит по миру язык
того народа.

Стучится посохом сухим
в страну-обитель,
но притворяется глухим
дней новых житель.

* * *

Оставим надежды
тому, кто мечтам предается.
Пусть эти невежды
считают, что все обойдется.

Отринем пустое,
как прах от солдатских ботинок.
Продолжим святое:
со смертью крутой поединок!

В сосудах скудельных
надежда и вера — химеры.
Средь скуки смертельной
бессмертны — Любви кавалеры!

Из тех, кто не дрогнул,
не клюнул на рабью приманку,
кто, став на дорогу,
не пел под чужую шарманку.

* * *

Послушай, что тебе скажу
торжественно весьма:
мне кажется, что я схожу,
как с горочки —
с ума...

Там, на вершине, на пиру —
не размыслений шлак,
там я оставил на ветру
свою любовь, как флаг!

Минуя спящие дома,
шарнирами скрипя,
теперь иду — не без ума —
без смысла: без тебя!

Путь в одиночество треклят:
без смысла — в сад зимы...
И нет попутчиков в тот сад,
помимо тьмы.

СВЯТЫЕ МЕСТА

С. С. Гейченко

Нет, прошлое не есть пустырь.
Вот по заснеженному «ныне»
шуршит машина в монастырь
к могиле Пушкина, к святыне.

Как рукотворная заря,
двадцатый век сияет лихо!
А здесь, у стен монастыря,
и в двадцать первом будет тихо.

Святые надобны места,
чтоб сердцем слушать мир —
не ухом,
чтоб воспарять, хоть иногда,
над изнемогшей плотью —
духом!

Родился в Костромской области в 1935 году. Окончил химический факультет МГУ. Автор поэтических книг «Общежитие», «Первый снег», «Я вас люблю», «Солнце во дворе». Лауреат премии конкурса имени Н. Островского.

* * *

Земля сырая, вещая,
Неяркий свет рассеянный
Над Алексей Ивановичем
И Анной Тимофеевной.
Два этих русских имени
Меж избами и хатами,
Как бы печатью времени
В судьбу страны впечатаны.
Лежит под скромным холмиком
Не прах святых угодников,
А к совести зовущая
Семья простых работников.
Она была облаяна
Фашистскими собаками,
Но возгорелась звездочкой
На горько-черном вакууме.
Врагом была унижена,
Охаяна, обмерена,
Но плакала, работала,
Надеялась и верила.
Она дала Гагарина —
Надежду человечества.
Где нет отца и матери —
Там нету и Отечества.
Отечество насущное —
Все, что тобою пройдено.
Отец и мать — несущие
Живую правду Родины.
И горе незаемное,
И радость не трофейная.
Так, Алексей Иванович?
Так, Анна Тимофеевна?

ПРОДАЮЩАЯ АРБУЗЫ

Словно был я старцем древним,
А очнулся вечно юным.

Взрывы манговых деревьев
Между Пегу и Рангуном.

Каждый миг считаю за год,—
Наважденью чужды судьбы —
В череде метафор-пагод,
В золотом молчанье Будды.

К златоструйной Ирравади
Темный слон бредет купаться.
Если это мне приснилось —
Не желаю просыпаться.

Между Пегу и Рангуном
Я разбил свое сознание
Не о камень преткновенья,
О наперсницу желанья.

...Не было душе тревоги,
Сердцу не было обузы,
Но возникла у дороги
Продающая арбузы.

И металось солнце злое,
И ломилось сквозь проломы,
А ее хранил от зноя
Тент из рисовой соломы.

Очи — тайные, как ночи,
Волосы — черней всевластья.
Щиколотки голубые,
Шоколадные запястья.

И расцвел вблизи селенья,
Меж платаном и бурьяном
Плод мужского вдохновенья,
Вызываемый дурьяном.

И горели красным грузом,
Верхом всех ее коммерций

Ломти сочного арбуза,
Так похожие на сердце.

И вонзались, словно звуки,
В грудь, чтобы любить и плакать,
Перламутровые зубки
В пламенеющую мякоть.

О, агатовые бусы!
О, серебряные бляшки.
Продающая арбузы
Гонит по сердцу барашки.

И лежит как чудо-юдо
Между мною и судьбою
Океанского рассола
Блюдо вечно голубое.

2

Родилась в Харькове. Окончила филологический факультет МГУ. Автор более десяти книг стихотворений, в том числе «Льяная луна», «Огневица», «Синий сумрак», «Поляна», «Русские имена» и других.

ИЗ ЦИКЛА «ИТАЛЬЯНСКОЕ КАПРИЧЧИО»

1

Озеро Неми

Жрец Дианы у озера Неми
ежесекундно подвергался опасности
быть убитым претендентом
на его место. Лишь убийца
жреца имел право стать
новым жрецом.

Смеется в небо зеркало Дианы.
Забут ее всегда угрюмый жрец,
а пинии, одетые в лианы,
глядят, как мирно зреет огурец

в распластанной у озера теплице,
как мастерски запружена вода,
как женщины, любви и денег жрицы,
на мотоциклах мчатся в никуда.

Давно забыты повод и причина,
никто жреца за место не убьет,
старушка в баре кофе «капучино»
за мизерную плату подает.

Смешно и глупо верить в привиденья,
их навсегда отвергли наши дни.
Но дух борьбы
и горький дух смятенья
откуда здесь,
откуда здесь они?

Зачем забилось сердце на вершине
крутой скалы?
Зачем зашло оно?
Все пустяки — пойду скорей
к машине,
уюду вниз, покуда не темно.

Но что белеет там, у поворота?
Луна блестит на острие ножа?
Все помнит обновленная природа.
Все знает неумершая душа.

— Диана, вы? —
(Нельзя на «ты» с богами.)
Она стрелой пронзила синеву,
листва зашелестела под ногами,
и пала птица замертво в траву.

— Охотница, вам нравятся иные,
сегодняшнего века времена?
Вы, может быть, слышали

о России? —

На это не ответила она.

И я ушла, не осмысляя чуда,
по-прежнему не веря ни во что.
Но дух смятенья,
дух борьбы откуда?
И эта тень в заношенном пальто,

что за спиной Дианы колыхалась —
ужели жрец?
один из тех жрецов,
чья жизнь ежесекундно подвергалась
единственному из земных концов?

Какою мерой этот день измерить?
Как не остаться перед ним в долгу?
Смеялась я, что не могу поверить,
и плакала:
поверить не могу!

Но дух борьбы
и дух смятенья тоже
с тех пор во мне как встречи той привет.
Сказала бы, на что они похожи,
да слов таких на белом свете нет.

2

Володя Костров оказался в Палермо.
Ничто не напомнило здесь Кострову:
с колхозной несхожа хозяйская ферма,
хотя у коровы все то же «му-му».

Володя Костров удивился немного,
ведь, кроме России, он не был нигде:
здесь женщины слишком одеты нестрого,
хотя улыбаются, как и везде.

Володя Костров полюбил этот город,
который Володю в ответ полюбил.
По дальнему миру таинственный голод
за краткие сутки поэт утолил.

А все остальные четырнадцать суток
нес в сердце тоску и сознание в уме,
что жизнь его славная есть промежуток
меж жизнью в Москве и родной Костроме,

что слово «Костров» в Костроме уместилось
не зря, не напрасно, хотя не вполне.
Все в мире с тех пор для него упростилось —
о чем он поведал торжественно мне.

3

Холодно, холодно в утренней рани,
хочется думать о том,
как мы не встретились в жарком Милане,
не разлучились потом.

Не удалось ни поссориться шумно,
ни помириться в тиши.
Помнить небывшее разве разумно,
разве достойно, скажи?

Завтра раскинулось синею бездной,
в прошлое бросило тень.
Воображенья игрой бесполезной
грею обветренный день.

4

Э х о

В Сиракузах есть среди скал грот причудливой
формы. Его зовут «Ухо Дионисия».

Дионисий подставил мне ухо.
— Сердце в счастье не знает стыда? —
Отозвался спокойно и глухо —
раскатилось, рассыпалось:
— Да!

Можно жить, не творивши кумира,
всем издевавшим истины мира
и законы земли и планет?
Раскатилось, рассыпалось:
— Нет!

— Есть ли счастье? —
Ответил:
— Отчасти.
— Что свобода для мирных племен? —
Зная все о свободе и власти,
Дионисий ответил:
— Полон.

Равнодушен.
Все видел и знает.
Горд. Надменен. Доволен собой.
Все нашел — ничего не теряет.
— Кто познает любовь? —
Он:
— Любой!

От таких неконкретных ответов
быстро я собралась уходить:

не дает откровенных советов,
не желает понять, угодить.

Уходя, мимоходом спросила:
— Вам не страшно от новых эпох? —
Ничего не ответила сила,
лишь вздохнула отчаянно:
— Ох!

Сомнения Петра Первого

Кому охота сына убивать?
А если сыну убивать охота?
С бабенкой завалился на кровать
и трон приснился — выше эшафота.
Ему-то что? —
зарюют, и конец.
Мне с неподъемной ношей оставаться.
Я не сказать чтоб любящий отец,
да совесть, дура, будет убиваться.
Допустим, мой болван меня убьет —
из Суздаля заявится Авдотья
и дело по старинке повернет...
Долой!
Долой боярские лохмотья —
возврата нет!
Подписываю смерть
не сыну, а презренному холопу.

Жаль, мальчик бледный, худенький, как жердь...
На кой мне черт рубить окно в Европу?!
Они сюда полезут, как клопы,
за дармовой добычею любезной,
придется защищаться от судьбы
и, может, вешать занавес железный.

Какие мысли! Прочь!
Возврата нет!
Я царь или последний побирушка?
Да на меня теперь глядит весь свет:
история в руках — не погремушка!
Подписываю!..
Маленький он был,
все лютики срывал и плакал часто.
Подписываю!..
Я его любил...
Подписываю!
Может быть, напрасно...

ФАКЕЛ
(Баллада)

Горбатый человек скакал по скатам крыш,
перелетал моря и прыгал по могилам.
Но русской широты грохочущая тишь
ему не по горбу,
а мне как раз по силам.

Он факел протянул —
и я его взяла:
Европы ровный свет, горевший аккуратно,
и по земле своей задумчиво пошла.
Был путь один — вперед,
и не было обратно.

Но факел вдруг угас, едва исчез горбун,
и в этот самый миг запылало слово:
в краю свечей-берез и светозарных лун
мне без огня светло,
тем более чужого.

Я шла, и шла, и шла
через свои года,
отмеренные мне аршинами столетий,
сгорала от любви,
сгорала от стыда,
высверкивая ночь
кремнями междометий.

А где-то далеко горбатый человек
смеялся надо мной
и плакал над собою.
Неоновым огнем горел двадцатый век,
в котором вижу все, за что зовут слепую.

Родился в 1926 году в селе Калиновском на Ставрополье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Участник Великой Отечественной войны. Автор двадцати книг стихов, в том числе: «Певучие травы», «Дарю степь», «Даль полынная», «Осенний снег», «Высокий свет», «Аппассионата», «Стихи» и других.

В ЛЕТНЕЙ КАЛИНОВКЕ

Н. В. Писареву

Душа свободна от печали горькой,
развевалась воспоминаний грусть:
на строки улиц только глянул
и радуюсь,
что знаю наизусть.

Я тут, пожалуй,
в каждый дом был вхожий
и помню, как кого повеличать.
Меня сельчане не забыли тоже —
не устают улыбкой привечать.

Иду, дворы окидывая взором,
и удивляюсь:
«Батюшки, ты глянь,
какой домок отгрохал Белозеров,
и в окнах —
развеселая герань».

А вон под горкой —
Николай Семенов —
мой школьный друг.
Каков-то он теперь?..
Дом окружен штaketником зеленым,
Зеленой краской выкрашена дверь.

Чуть ниже, в переулке,
Шумский Павел
в соседстве с Петькой Кузовлем живет.
Я мимо их дворов шаги направил,
где речка струи говорливо вьет.

Она меня, наверно, не узнала.
Но не узнал, родимую, и я:

по камушкам бежит она устало,
усохшая до жалкого ручья.

Но вот горбато лег под ноги мостик.
«До новой встречи!» —
голосок воды.
И тут же слышу —
зывают в гости
калиновские щедрые сады.

Они кипят,
бурля ключом зеленым,
переливаются через плетень,
чтоб до курганов,
солнцем опаленных,
вдруг доплеснуть спасительную тень...

Из улки в улку сами водят ноги.
А зной все злей,
а грусть моя лютей..
В родном селе дворов знакомых
много,
но больше незнакомых мне людей.

ПИСЬМО ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ

Здравствуй, Виктор Петрович,
ныне, присно, вовек.
Ты по духу и крови
мне родной человек.

Но об этом при встрече
я тебе не сказал —
не даются мне речи.
А письмо написал.

И поверь, тут не фраза,
а само естество:

я почувствовал сразу
это наше родство.

Может быть, биотоки,
может быть, ремесло.
Но из далей далеких
нас ведь что-то несло,
что-то мчало нас,
разных,
в степь кубанскую,
в глушь,
где общения праздник
стал
как пиршество душ;

где с кизиловой ветви
лист сорвался —
и вдаль.
Вдруг — на лацкан —
и светит
золотая медаль.

Улыбнулся ты:
«Очень
ярок южный листок...»
Продолжается осень,
облетает лесок.

Дни бедней и суровой,
небо тяжче во мгле.
До свиданья, Петрович,
где-нибудь на земле.

ГОРЕ

Русобровый солдат,
он упал на камень
где-то в лунной стране Гиндукуш.
А в кубанских садах
горько лютуют мгновенья
лепестками черешен и груш.

Безутешная мать
взглядом, полным укора,
будет дни провожать и встречать.
Через долгую жизнь
пронесет свое горе
и сокровится в вечности мать.

А потом и земля
даже вспомнить не сможет,
где бесстрашно прошел он по ней.
Только совесть живых
будут вечно тревожить
голоса нерожденных детей...

Ждет раскаянья мир.
Не оно ли на свете
сострадание в людях спасет?..
Над примолкнувшей Землей
мертвый солнечный ветер
сиротливые крики несет.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ХОР

*Вере Константиновне Марковой
и ее подругам, сложившим песню
«Бабы русские» для фольклорного
хора совхоза «Труновский»*

Ни смущенья,
ни смятенья —
просто пел фольклорный хор.
Но от простенького пенья
в горле спазмы до сих пор.
В сельском клубе
было тесно.
И светло от седины.
Пели жены и невесты
не вернувшихся с войны.
Про судьбу
без милосердья
песня горькая лилась.
Для безвестья
иль бессмертья
эта песня родилась?
Бабы,
сидя на крылечке,
загляделись зорьке вслед:
кто слезинку,
кто словечко,
кто смешинку —
все в куплет.
А потом мотив осенний
вывел ветер,
чуть дыша..
От бесхитростного пенья
захолонула душа.

Родился в 1936 году в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ и заочное отделение кинооператорского факультета ВГИКа. Автор нескольких книг стихотворений.

Член Союза писателей СССР.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ?

На излете двадцатого века
не к лицу нам бездумная спесь.
Если нет на земле человека —
красота и гармония — есть!

Но не в этом была подоплёка,
и замыслил не то белый свет:
если нет на земле человека —
на земле милосердия — нет!

* * *

Сколько поздних, ненужных стараний,
сколько жалких грехов, покаяний!
Жар души до сих пор не утих...
Я устал от безмерных желаний,
записных сумасшествий своих.

Не пора ль, чтобы выдохся ветер?
Не пора ль быть за что-то в ответе
и в душе своей что-то убить,
чтобы счастья желать только детям,
а себя самого позабыть?

СЕРЕДИНА ЗИМЫ

Снег синеват и розов.
Закат — цветные сны.
А лес застыл, березов,
посередине зимы.

Берез прозрачны лица,
над ними легкий дым.
Летит ворона-птица
под солнцем золотым.

И жизнь все длится, длится,
и дорог каждый миг.
И счастью нет границы,
а к бедам я привык.

* * *

Милая, маленькая, сумасшедшая,
вот я и снова один.
Знаю, согреет меня перед вечером
свет твоих юных седин.
Нам не спастись, не избегнуть

напасти.

Только судьбы не гневи...

В толще времен погребенное
это из нашей любви.

счастье —

ПОПЫТКА ИСПОВЕДИ

Сколько лет мировые законы учу —
все равно раб нелепого случая.
Если б все получалось,
как я захочу,—
это было бы самое худшее.

Как помог мне предавшего друга

оскал,

и болезнь, и года эти нищие...
Я страданья себе никогда не искал.
Впрочем, кто же страдания ищет?

Как причудливо-сладко поет соловей!

Но и боль, но и ужас — к добру...

Я, наверное, был бы корыстней

и злей,

если верил бы, что не умру.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

Родился в Ленинграде в 1946 году. Окончил исторический факультет педагогического института. Автор книг стихов «Облака и птицы», «Киргизская рапсодия», «Аргонавтика».

МАРТ

В эти дни предчувствия апреля
Солнце внове; словно кипень хмеля,
Талая пузырится вода.
Погляди: беспамятная глина
Все века сплотила воедино,
Древние накрыла города.

Всех цветов желаннее зеленый,
Все дрожит в лазури ослепленной,
Звонко обрываются слова.
Женщина смеется беспричинно,
Оттого, что посмотрел мужчина
И в летучем небе синева.

* * *

Безысходен поздний вечер в сером городе портовом,
Жизнь моя переломилась, примечая, как вдали,
Где вселенная граничит с морем дымчато-лиловым,—
Переваливаясь в небо, исчезают корабли.

Но прогнулась на рассвете, загудела зыбь глухая,
Неугаданное что-то открывая и тая.
Наработанное море повалилось, громоухая,
Пароходы возникают будто из небытия.

ТАВРИДА

Фонтан любви, фонтан, живой,
Принес я в дар тебе две розы...
Пушкин

Как забывается обида,
Сойдут московские снега,
И, может быть, твои, Таврида,
Смогу увидеть берега.

Как много разрушалось взглядом,
Бывало, грезившихся стран,
Но все манил и где-то рядом
Лазорью веял твой туман.

Как будто сад Бахчисарая
И эта длительность мечты —
Истлевшей страсти жизнь вторая,
Словами ставшие цветы.

Сквозь безысходность мерзлой прозы
И жизни изводящей зной
Я видел мысленно две розы
Под водокрутью ледяной.

Они живут, они все те же,
И, как шиповник-новосел,
Чужой язык, сырой и свежий.
На берегах твоих расцвел!

ВЗГЛЯД

Проживает милая в Смоленске.
Позвонить ей прямо на завод,
Голос хриплый, не мужской, не женский.
Дочку к телефону позовет.

Подойдет, и двор увижу хмурый,
И под мерным прохожденьем туч —
На стекле и ребрах арматуры
Ожиданья отрешенный луч.

Мне о ней известно так немного.
Слышу — с плеском падает вода.
Может быть, железная дорога,
Громящая, движет поезда.

Но все это, вероятно, снится,
Если вспыхнул на закате дня
Долгий взгляд сквозь длинные ресницы,
Слепо устремленный на меня.

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Там, где волны гуляют лениво
И, взмывая, гремят берега,
Рванный камень остался от взрыва
И зубцами встречает врага.
Чуждой волей сплочен воедино
И забыт высотой навсегда.
Из него возникает плотина,

И, рыча, отступает вода.
Забывая о милом и давнем
В свирепеющей пене седой,
Просыпаюсь разорванным камнем,
Заблудившейся, дикой водой.
Озаряя ночные пустыни,
На себя оглянулась река,
Изменившая устью отныне
И пошедшая вспять сквозь века.

Родился в 1948 году в деревне Усть-Тулатинка Алтайского края. Работал слесарем на барнаульском заводе «Трансмаш», помощником бурового мастера в Якутии, литсотрудником многотиражной газеты. Окончил Барнаульский педагогический институт. Стихи публиковались в журнале «Юность», в альманахах «Поэзия», «День Поэзии». Автор книги стихов «Портрет».

* * *

Расстояние между тобою и мной — это и есть ты,
и когда ты стоишь предо мной, рассуждая о том и о сем,
я как будто составлен тобой из осколков твоей немоты,
и ты смотришься в них и не видишь себя целиком.

Словно зеркало жаждой своей разрывает себя на куски
(это жажда назначить себя в соглядатаи разных сторон) —
так себя завершает в листве горемычное древо тоски,
чтобы множеством всем предугадывать ветра наклон,

чтобы петь, изъясняться, молчать и выслушивать всех,
самолетной инверсией плыть в плоскостях тишины —
но блуждает в лесу неприкаянный горький орех,
словно он замурован бессонницей в близость войны.

Где он — рай шалашом, на каком догорает воре,
я же слеп для тебя, хоть и слеплен твоею рукой,
холостая вода замоталась чалмой на горе,
и утробы пусты, как в безветрие парус какой.

Как частица твоя, я ревную тебя и ищу
воскресенья в тебе и боюсь — не сносить головы.
Вот я вижу, что ты поднимаешь, как ревность, пращу,
паровозную перхоть сбивая с позорной листвы.

Словно ты повторяешь мой жест, обращенный к тебе,
так в бессмертном полете безвестная птица крылом
ловит большее сердце, своей подчиняясь судьбе,
и становится небом, но не растворяется в нем.

Да, я связан с тобой расстоянием — и это закон,
разрешающий ревность как правду и волю твою.
Я бессмертен, пока я покорен, но не покорён,
потому что люблю, потому что люблю, потому что люблю.

* * *

Вооруженный четверней сезоном, сияющих, как ярусы ковчега,
вплывает год под шорохом кометы, бросающей тигриные следы,
и мы вступаем на помост вседневный: мы нижний ярус отведем для снега,
второй засеем, третий даст нам всходы, а на последнем будем ждать плоды.

Он сделан нами — помни, — даже если он сделан кое-как, то нет причины
в нем сомневаться, потому что эта его постройка означает жить.
Уже раздуты щеки ветродуя, набрякли жилы ветровой машины,
будильник заведен на воскресенье, чтоб ледяное солнце сокрушить.

Но больно видеть, что душа поката, окружена экранами сплошными,
где что-то происходит подставное, и ничего не видно из-за них.
Смерть подражает очертаньям жизни, и речь в проказу вбита запятыми,
и непривычно видеть эти тени от внутреннего солнца в нас самих.

А что, когда и я всего лишь проблеск глазного дна, куда своим коленом
так давит свет, что впору грызть запястья и в пасти волка сердце находить?
Но вот зерно светлеет на ладони, оно — ковчег с многооконым креном:
для каждой твари есть звезда и место. Свежеет ветер, надо жизнь будить.

* * *

Раздвигая созвездья, как воду над рыбой ночной,
ты глядишь на меня, как охотник с игрушкой стальной,
направляющей шашки в бессвязной забаве ребенка,
будто все мирозданье всего лишь черта горизонта,
за которым известно, что было и будет со мной.

На обочине неба, где нету ни пяди земли,
где немислим и свод, потому что его развели
со своим горизонтом — вокруг только дно шаровое,
только всхлип бесконечный, как будто число даровое
набрело на себя, и его удержать не смогли.

И я понял, как небо в себе пропадает — почти
как синяк, как песок заповедный в последней горсти,
если нет и намека земли под твоими ногами,
если сердце, смещенное дважды, кривясь, между нами
вырастает стеной, и ее невозможно пройти.

На обочине неба, где твой затаен Козерог
в одиночной кошаре, как пленом объятый зверек,
где Медведицы воз укатился в другие просторы,
заплетая созвездья распляской в чужие узоры,
мы стоим на пороге, не зная, что это порог.

Коготь Льва, осеняющий чашу разбитых Весов,
разлучает враждой достоверных, как ген, Близнецов —
разве что угадаешь в таком мукомольном угаре?
Это час после часа, поймавшем себя на ударе
по стеклянной твердыне запекшихся в хор голосов.

И тогда мы пойдем, соберемся и свяжемся в круг,
горизонт вызывая из мрака сплетением рук,
и растянем на нем полотно или горб черепахи,
долгополой рекой укрепим, и доверимся птахе,
и слонов тяготенья найдем для разгона разлук.

И по мере того как земля, расширяясь у ног,
будет снова цвести пересверками быстрых дорог,
мы увидим, что небо начнет проявляться и длиться,
как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы —
мы увидим его и поймем, что и это порог.

* * *

Ты — куст и разбойник в кустах, ты — ветер, и ты —
воздушная яма, куда похоронный гранит
сорвался, заполнив ее до краев пустоты,
и стал монументом, который давно уж забыт.

И рубашка для карты с чужого плеча
на тебя навалилась, любя,
и молекулы ветра, как лед, грохоча,
перемешивать стали тебя.

Крутясь в построеньях своих, произвольных, как смерть,
молекулы ветра свивались в пластмассовый свод,
тебя поглощала его бутафорская твердь,
как воды потопа, текущие наоборот.

Этой маской безмолвия ты облечен,
вовлечен в маскарад, обречен
на круженье по миру, избравшему сон
как возможность свою и закон.

От черного нимба повторного солнца в глазах
твоих зарябило, и день закачался как стог,—
опять воплощая тебя в бесконечных часах,
уже воплощенное время дробило итог.

Ты вернулся без спроса в себя, наугад,
в неурочное время, не в срок.

Ты очнулся и понял, что ты — автомат,
пассажиropотоков царек.

Ты понял, что ты — автомат, но твое торжество
тебя же и валит в разъятое сердце твое.
Ты — власть, во владеньях которой нельзя ничего
найти, ничего, кроме собственной власти ее.

Ты как обруч на бочке, а видом венец,
замыкающий волю свою.

Ты — в потоке стыда обреченный пловец,
ты бесплоден, как сад на клею.

Но ты — порошок от убийства, успешный всегда,
инъекция от наводнений и мазь от суда,
ты — бинт ото всех опозданий на все поезда,
каленое жало от страха и нож от стыда.

Милосердье в потворство твое перешло
и с магнитной дорожкой срослось,
никого не смущает твое ремесло,
и надежда кружит как пришлось.

И надежда кружит как пришлось
под твоей первобытной личиной,
и дразнит, и ведет на авось,
и ломает причинную ось,
становясь неизбежной причиной.

Вот ты в собственном сердце болишь,
сознавая, что ты невозможен
тем, что в чучело смерть норовишь
поместить и оттуда глядишь
на себя, как тупик, непреложен.

Ты в своем затененном мозгу
назначаешь себя истуканом
и себе отдаешь как врагу
на правож, высветляющий згу
в голошенье твоём бесталанном.

Ты зажат, как вороний язык,
вездесущим, всезнающим клювом,
словно твой допотопный двойник
для тебя уготовил тупик,
накачавшись снотворным раздувом.

И ты клюв разжимаешь ножом
в ожидании праведной вести,
ты выходишь на сушу вдвоем
с сокровенной любовью, и гром
ставит знак очистительной мести.

* * *

Если горы читаются слева направо
или так же неспешно в обратном порядке,
но не снизу — как днем, и не сверху — как ночью,
это значит, что время устало воочью,
отказалось от возраста, и без оглядки
изменилось его неподкупное право.

И когда ты в угоду бессчетным затеям
навязаться захочешь какой-нибудь цели,
расплетая дорогу на тропы провидца
(словно подвиг Гераклу навязан Антеем
для того, чтобы только в безумном веселье
от земли оторваться и ввысь устремиться),—

вот тогда ты увидишь впритык, изумленно
прозревая, что нет ни вблизи, ни в округе
ни тебя, ни того, что тебя возносило.
Ты поймешь, как ужасно зиянье канона,
ты — аспект описанья, изъятый в испуге,
наводящая страх бесприютная сила.

Можно вынуть занозу из мака живого,
чтобы он перестал кровяниться в отваге,
можно вынуть историю из пешехода,
научить красотой изнуренное слово
воздвигать закрома из болящей бумаги,
чтобы в них пустовала иная природа.

Можно сделать парик из волос Артемиды,
после смерти отросших в эфесском пожаре,
чтобы им увенчать безголовое тело,
тиражировать шок, распечатать обиды
или лучше надежду представить в товаре,
но нельзя, потому что... И в этом все дело.

Ты увидишь, что горы уходят и с каждой —
горизонт и возможность иного простора
и умение запомнить времен исчисленье.
Если только тобой управляет паденье
в неумную жажду высот разговора —
все терзанья твои объясняются жаждой.

Родился в городе Бийске в 1948 году. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Живет в городе Солнечногорске Московской области. Автор двух книг стихов: «Листобой» и «Август».

* * *

Зарастая ряской немоты,
уставая времени перечить,
о, в какие полые грунты
вы сошли, серебряные речки?!

Запеклись промытые пески,
поглотились тьмой неумолимой
пескарей прозрачных косяки
и живые призраки налимов.

Я забыл мальчишеский реестр
мелководных дафний и личинок —
эту бездну всяческих существ,
что вполне лишь в малом различима.

Слышу в мире океанский гул,
вспоминаю голубую заводь,
где никто от века не тонул,
где мальчишкой научился плавать.

Вот и спала малая вода,
и открылись первые предтечи
бытия, откуда навсегда
убежали маленькие речки.

Убежали, в нетях запропав.
Хоть бы в сны прорвались через
годы,
где ни стрел щуриных, ни купав,
ни проток лесных, а — воды,
воды!..

* * *

Как просто жизнь свою увидеть снова,
единым вздохом прошлое объять.
Какой короткий путь у прожитого,
но не осилить мне его опять.

Быть может, это смертная усталость,
быть может, память пройденных забот...
На повторенье силы не осталось,
пусть ничего обратно не придет.

Что в мире жгучем было утоленьем
высокой жажды? Все перетерпя,
вершилась жизнь, и с грустным удивленьем
смотрю я на вчерашнего себя.

Как пели годы! Пели, отлетая
в леса и доли памяти живой.
Перед тобою, молодость крутая,
готов клониться скорбной головой.

Но снов моих и слов моих не ведай.
Останься там, у счастья на краю.
Не приходи, чтоб сдержанной беседой
я не сгубил отчаянность твою.

* * *

На грешной земле, уставая от слов,
ты спишь, человек, без провидческих снов.

На грешной земле под прицелом ракет —
ни горних знамений, ни верных примет.

И тянется сквозь ворожбу бытия
лишь зыбкая дымка людского чутья.

Пусть это не вовсе пустая игра,
грядущим не пахнут земные ветра.

Молчат преисподняя и небеса,
и вещи нас не зовут голоса.

И смотрит на звезды и медленный снег
ребенок Вселенной — живой человек.

* * *

Снега и ветра распущенный кокон
мечется в лапах полуночной тьмы.
Слышно, как трутся метели об окна,
словно бездомные кошки зимы.

В пору, когда, тишиною наскучась,
всю неприютность откроет земля,
благословишь свою грустную участь
хоть за тепло городского жилья.

Ты уже в роли какого-то бога,
жалостью полнясь, увидишь сквозь снег,

как среди поля клубится дорога,
где запоздалый бредет человек.

Но всеблагая отзывчивость эта
только ли свойство тебя самого
иль порожденье уюта и света
и непродрогшей крови

торжество?

И возведенный хранительным бытом
в ровный порядок людского житья,
может, вовек ты не будешь
испытан
необязательным злом бытия.

ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВ

Родился в 1948 году в Армавире. Работал аппаратчиком на кислородной станции, учителем. Служил в рядах Советской Армии. Живет в Устинове. Автор книг стихов «Память о вечном» и других.

* * *

Жолна закричала протяжно и тонко.
Зачем? Ее время прошло..
С теплом распрощалась лесная сторонка.
И небу от туч тяжело.
На темном пруду — золотые разводы.
На воду слетает листва.
Цветы отыграли свои хороводы.
Ромашка в стогу чуть жива.
Осенние пашни черны и просторны.
Зерно в закромах — как янтарь.
Уснули в чехлах барабаны и горны,
не просят: сыграй и ударь..
Последние слезы прибрежная ива
роняет над вялым ручьем.
И тетерев сонный бормочет лениво
тетерке о счастье былом.
Как смертная рана, пылает рябина.
Охотники волей пьяны,
и, взвизгнув, пронзает шальная дробина
тягучую песню жолны.

* * *

Он все познал уже. А ты — еще дитя.
В нем — пламя и металл. В тебе — цветы ромашки.
Твои мечты легки — срываются шутя..
Его слова — летят, не ведая промашки.

Ты низвела его до сверстников своих,
и он в тебе узрел замашки светской львицы.
Но то, что, поиграв, ты отпускала их,
наивная, теперь уже не повторится.

Напрасно веришь ты, глазенки опуска,
в непрочную броню кофтенки да рубашки.
О, не шути с огнем! Бушуя и свистя,
сожжет он миг спустя крючки, бретельки, пряжки

не потому, что зол, не потому, что груб,
не потому, что страсть воспламенила тело,
а потому, что дрожь зовущих глаз и губ
хотела ты прикрыть стыдом, да не успела.

Бедняжка! На его — не на твоём пути
росла тебе одной неведомая сила...
Себе сказал: «Пусти!» Тебе сказал: — Прости...—
Он мог ещё уйти... Да ты не отпустила!

В ЗАБОЕ

В мгле антрацитной
рептилий распятые ребра.
В каменном прахе спрессован столетий полет.
Пляшет отбойник у черной скалы, точно кобра,
злясь и шипя, монолитную глыбу клюет.
Камень за камнем,
шурша,
опадают эпохи —
от мезозоя
до первых кивков топора...
Чьи устремления,
чьи вожделенные вздохи
вынесет нынче конвейер из недр на-гора?
Кто их прочтет?
Эта азбука пылью покрыта.
Камушком сделался тот, кто казался велик.
Может быть, завтра в одной из печей общепита
будет на нем приготовлен кавказский шашлык...
Все — суета?
Все мы станем частицами пыли?
Все возвратимся к началу пути своего?
Вспомним ли мы — кто и что мы до этого были?
Или уже не сумеем забыть ничего?
Может быть, в мире, на тысячи лет постаревшем,
вспыхнет в ночи уголек наших дел и забот.
Хочется верить:
в огне, человека согревшем,
память о нас
не сгорит
и надежду спасет.
Не потеряется
то, что сегодня прекрасно,—
все, что мы любим и в сердце ревниво храним.
И убежденье, что жил на земле не напрасно,
в душу потомка
войдет ощущеньем живым.

ПОЗДНИЙ АВИАРЕЙС

Неожиданно вспыхнуло зарево
над ночной молчаливой тайгой.
Сердце сжалось
и сильно ударило,
словно колокол в час вечерней.
Глядя в иллюминаторы мутные,
мой попутчик толкнул меня в бок:
«Ишь, сжигаются газы попутные,
а — красиво! Не так ли, дружок?
Может, вправду оно бесполезное —
все, что нынче сгорает легко?»

...Выла наша машина железная,
поднимая людей высоко.
Но в груди моей чувство тревожное
шевелинулось, как злая змея.
Там, внизу,
деревенька таежная,
в ней родня проживает моя.
Вдруг туда ненароком дотянется
бесполезный попутный огонь?
Ведь меж ним и деревней дистанция
и осталась —
все-то в ладонь...

НА АВТОЗАВОДЕ

Штамповочный... Грохот и ропот...
Стальные листы... Духота...

— Проблема исчерпана. Робот
людей заменил у поста.—
Лишь грузчик остался у пресса —
шутник, балагур, весельчак:
— Подай автомату, железо,
а все остальное — пустяк...

...Я встретился взглядом
случайно
с лучом неживого огня.
Какая-то мрачная тайна
внезапно пронзила меня.
В огне том сквозило
бесстыдство,
сознания мелькнули черты.
Но не было в нем
любопытства,
и не было в нем доброты.

Впервые меня поразила,
смutila — проста и пряма —
железная дикая сила,
рожденная силой ума.
Как будто вся жизнь бесполезной,
беспомощной, зряшной была,
как будто над адскою бездной
по краю меня повела.

Как будто бы гений грядущий,
завидя иной матерьял,
мою непутевую душу
к своим чертежам примерял.

Родился в Кабардино-Балкарской АССР, окончил Кабардино-Балкарский университет, историко-филологический факультет.

Автор сборников на родном языке «Белые облака», «Белые травы», «Равноденствие», «Кредо» и на русском языке «Ответ».

Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей.

* * *

Мой верный друг, спаситель вечный мой,
язык, подаренный мне матерью родной.

Когда душа моя кричит от боли,
ты в песне вылиться сможешь ей на волю.

Когда мой путь теряется во мгле,
в тебе одном источник света на земле.

Когда явился я на свет, то в тот же миг —
тоскою по тебе был первый плач и крик.

* * *

Светлеют колеи дорог,
и тень уходит прочь.
И тихо гаснет костерок,
согревший нашу ночь.

Мы бросим горсточку земли
на язычок огня.
Тропой, терявшейся вдали,
пойдем при свете дня.

Но чистый свет того огня,
подаренный судьбой,
не гаснет в сердце у меня,
пока иду с тобой...

* * *

За день до смерти выйду в поле.
Теснясь, пройдут воспоминанья:

одни — терзать последней болью,
другие — облегчить страданья.

За этим горестным парадом,
пути не видя под ногами,
за Млечный Путь цепляясь
взглядом,
пойду неровными лугами.

И каждый шаг мой — как
с откоса —
глухой прокатится тревогой.
Запляшут мысли, как стрекозы
над всколыхнувшейся травой.

И с тех высот, где орлий клекот,
раздастся крик и оборвется,
и, вздрогнув, как перед полетом,
душа на зов тот отзовется.

Переводы с кабардинского
Анатолия Тепляшина

МЕРТВОЕ МОРЕ

Я думал, что ты не живешь и не дышишь,
Что глазом стеклянным в глазнице земли
Покоишься мирно и волн не колышешь —
Недаром же мертвым тебя нарекли!

Но вижу тебя и стою пред тобою,
Твоей красотой удивленный навек...
Пусть нет ни души у тебя за душою,
Зато не утонет в тебе человек!

В дыханье тяжелом тоска проступает,
Вскипает и снова уходит на дно...
Так женщина, может, о детях мечтает,
Которой, однако, родить не дано!

* * *

Лишь весна молодая приходит,
Раскрывает объятья земля,
И ветра по лесам хороводят,
Прошлогодней листвою шевеля.

Улетучился холод вчерашний,
И, горланя, ручьи потекли...
Пар встает над пробуженной пашней,
Как надежды и мысли земли.

Ненасытно живу я весной,
И тревогам нет места моим...
Поднимается пар над землею —
Это счастье, что пар, а не дым!

Переводы
Александра Лаврина

Родилась в 1948 году. Окончила художественно-промышленный техникум в Загорске. Работала в Калининском кукольном театре. Автор книги стихов «Расклеищица афиш».

* * *

Черника в чашке с молоком.
Ржаного хлеба кус.
Он с детства празднично знаком —
Июльских ягод вкус.

Не привозных, не покупных,
А собранных тобой.
И цвет у чашки стал от них
Молочно-голубой.

И пальцы в ягоде, и рот.
Черничный нежен сок.
...Случайно лодочкой плывет
По молоку листок.

* * *

В самый последний миг
Счастливо и безоглядно
Птицей срываюсь на крик:
Ты не забудь меня, ладно?!

в этой стране ледяной
Трону ладонью прохладной:
Что б ни случилось со мной,
Ты не забудь меня, ладно?

Прутиком черным грозя,
Встанет судьба над тобою.
В этом пространстве нельзя
Нам заручиться судьбою.

Южных помятых гвоздик
Запах стоит в парадном.
...В самый последний миг
Ты не забудь меня, ладно?..

* * *

В этой маленькой комнате
Только солнце и ты.
Да еще паучок на стене.
Да на синих обоях
Золотые цветы,
Зацветающие во сне.
В этой маленькой комнате
Только солнце и я.
Да еще паучок в уголке.
И плурует любовь,
Растерявшись, моя
В золотом, как сентябрь, цветнике.
В этой маленькой комнате
Только солнце и мы.
Сожжены все за нами мосты.
Просыпаюсь и знаю —
Есть солнце и ты.
А вокруг — золотые цветы.

* * *

Цветов чуть слышен аромат,
Все бабочки — льняного цвета.
Да разве август виноват,
Что он последний сын у лета?

Что мало солнца и тепла
И что вода похолодала...
Осина красный лист зажгла
И сентября не дождала.
Мой август, позднее дитя,
Дай завитки волос пригладь.
Нарядным яблоком хрустя,
Пойдешь, не оглянувшись даже.

Ушел июль, твой старший брат.
Вот манит и тебя в дорогу...
Цветов чуть слышный аромат —
И тот растает понемногу.

Родился в 1945 году в городе Симферополе. Окончил Высшие литературные курсы.

Автор книг стихов «По первому свету», «Сотворение мира», «Обгоняя бегущих», «Отпечатки грядущего».

У ИСТОКА

Щеки скал, побритые ветром.
Спины долин
с углублениями для позвоночников
рек.
Опоры электропередач —
землемеры небесных ГА —
течение времени,
захватывающее все это,
кроме самого человека,—
он стоит над воронкою,
тянущей на дно окурки,
щепки, все отходы цивилизаций
и ждет своего часа,
часа безмолвия,
часа очищения,
слияния,
полного стечения обстоятельств
мира —
время действия и место действия...
Земля — огромный комок глины
сырой,
он должен вымесить свою душу,
запечатлеть любовь,
он спешит, он ждет своего часа —
каждая минута может стать
последней,
принести посмертный слепок.
Так каждую секунду он стоит
на развалинах мира и его новостроек —
старые камни скрепляет новый
раствор —
тишина скрепляет озера и леса,

жужжание автострады —
вспаханное поле и целину,
слова — людей...
Сырые белые горы —
мел в руках тысячелетий,
пишущий на черных досках
неба...
Что остается человеку?
Стою на месте разлома —
упавшие глыбы,
между которыми вода течет,—
как отступление армий в глубь
континента...
Тишина. Клекот недр.
Клекот высоты,
бурлящей птицами,—
две стихии, говорящие на одном языке.
Что остается человеку?
Уйти от исчезновения...
Стада холмов пусть плетутся веками —
за одну жизнь
обогнать рост гор,
разрушение камня,
марафоны речек,
обогнуть криволинейность
пространства
и вернуться назад к истоку...
Зеленая проседь полей —
постоянная весна —
вода приходит из земли и уходит
в землю,
отделяя Хлябь от Тверди,
обнажая кристаллическую решетку
планеты...

* * *

Но как нам быть, когда мы люди
со всюю прочностью порочной —

то, что достойно ненависти, любим,
а то, что надо бы любить,—
так пропускаем, между прочим...
Когда порою трудно справиться с собою,
когда себя к чему-то большему нести необходимо,
чем к собственным двуречьям боли
сквозь вечное отечество и сладости и дыма.
Но как нам быть? И быть по крайней мере,
что станет нам не мерой наказания —
за все приобретенное, за все потери
единственной наградой
за смелость,
за дерзание!

ОДИССЕЙ

Человек кончается тогда,
когда ему некуда возвратиться.
Туча возвращается в гнездо горы,
поезда — к станции отправления,
осень — в конец августа,
блудный муж — к жене
и цветение —
к разбитому зимой дереву.

Все. Иди.

Куда хочешь.
На все четыре стороны.
Можешь быть кем угодно —
послаником богов,
птицей, летящей низко,
предвещающая грозу,
и ощущение свободы
радостно холодит пятки твои,

но вдруг —
ты ушел навсегда
и более того —
твоя родина разрушена
до основания,
о тебе забыли,
нет твоей истории,
даже памяти о тебе,
и только ты,
единственное ты,
идущее навстречу только
себе —
своему утреннему кофе,
свежей газете,
удобному креслу,
комфортному сну...
Ты есть, но тебя нет,
ибо человек кончается тогда,
когда ему некуда
возвратиться.

Первая встреча

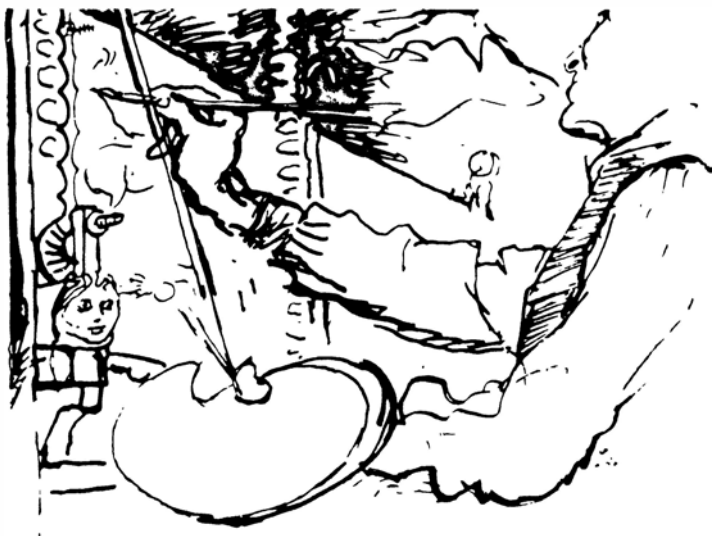


Рис Р Гуттузо

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

«СХОРОНЕННОЕ ВЫДОХНУВ ТЕПЛО»

Кто из нас не читал стихов о деревне? Сейчас о ней пишет столько стихотворцев (причем, как правило, с городской пропиской), что, кажется, направо этих певцов росных зорь и спелых нив поработать в поле — и сразу решатся многие сельскохозяйственные проблемы, проблема нехватки рабочих рук в частности. Но вот приходят в альманах стихи неизвестного поэта и отодвигают в сторону привычную риторику, штампы «деревенской» темы:

И охают поля под тракторами,
схороненное выдохнув тепло.
Ревет земля, дрожит земля упруго,
забыв о боли, помогает плугу,
и нет единства этого цельней,
прекрасней, драматичней и больней.

Пожалуй, в каждой процитированной строчке есть маленькое поэтическое открытие. Да и только ли поэтическое? Нас, читателей, убаюканных деревенскими пасторальями, эти стихи заставляют почувствовать вполне реальную боль земли — дрожащей, охающей, ревушей под тяжестью современной техники. Оказывается, единство земли и плуга «драматично» (какое неожиданное слово — не так ли? — в деревенских стихах). Но это же единство и прекрасно, ибо разве не о предродовых муках напоминает боль земли, разве не рождению будущего урожая предшествует она? Смотрите, как неожиданно, смело вовлекая в стихи современные реалии, поэтесса возвращает жизнь древней метафоре — земля рожаящая, «мать-сыра земля».

Автор, Ксения Фирсова, живет в самой настоящей глубинке — деревне Борки Новгородской области. Конечно, чтобы написать процитированные строки, нужно было как минимум остаться наедине с родным полем и после окончания летнего сезона, когда горожане, перегруженные деревенской экзотикой, вернулись в свои квартиры. Нужна биография, подтверждающая слово. Но, безусловно, нужен и поэтический талант:

А вечером машины, как в загоне
из упряжи натруженные кони,
глядят печально, дышат глубоко,
и пар валит клубами от боков.

Наработавшиеся за день, глубоко дышащие трактора — это уже и свой взгляд, и даже своя поэтика, отдаленно напоминающая поэтику рассказов и повестей Андрея Платонова.

Для меня несомненно, что Ксения Фирсова — наиболее сложившийся, самобытный автор из тех, чьи стихи представлены в этом выпуске альманаха под рубрикой «Первая встреча». Впрочем, у каждого из них есть сильные строфы или отдельные строки, останавливающие внимание, заставляющие запомнить имя стихотворца.

Думаю, в памяти читателей останутся строки Анатолия Устьянцева:

Сквозь осеннюю хмарь проступают стволы,
Словно остовы полусгоревшего дома,
Где пылающей крышей обрушилась крона
И смолистая копоть покрыла углы.

Может быть, здесь переизбыток деталей, но автору удалось воссоздать необычный, густой («пастозный») колорит. Кому-нибудь, пожалуй, покажется, что колорит сам по себе не заслуживает особого упоминания, что это нечто служебное, второстепенное. Такому читателю я напомним не слишком часто цитируемые слова В. Г. Белинского: «Поэтические произведения так же имеют свой колорит, как и произведения живописи, и если колорит в картинах ценится так высоко, что иногда он один и составляет все их достоинство, то так же точно колорит должен цениться и в поэтических произведениях».

Свободным интонационным развитием привлекают строки Раисы Котовской:

И за шепотом,
Трепетом,
Треском
Золотого ночного огня
Не расслышала, что перелески
Расцвели
И глядят на меня.

Интонация тоже не служебное средство, это живое дыхание стихотворения. Дышат стихи, есть у них своя интонация, значит, перед нами не мертвая риторическая конструкция, но подлинная поэзия.

Искренностью тона, согретого к тому же теплотой дорогих воспоминаний, западает в сознание стихотворение Маргариты Котомцевой:

Баюна ремни я на плечи надену
И выйду, робея, на клубную сцену,
И песню про синий платочек спою.
И маму представлю, что в вечер весенний,
Сестренку мою посадив на колени,
«Платочек» поет вместо «баю-баю».

У каждого из представленных здесь поэтов с в о и достоинства, а недостатки у большинства общие. Прежде всего это поверхностная описательность многих стихов, следствие, на мой взгляд, недостаточно заинтересованного отношения к миру. Порою кажется, что авторам неинтересно или некогда с любовью вглядеться в ту «траву под ногами», где, по слову мастера, скрыта поэзия.

Отставал остывающий день,
Словно чай недопитый в стакане,—

заявляет А. Устьянцев. Броско сказано, но строки, в сущности, «слепые». Стихотворец не увидел лицо «остывающего дня», о котором взялся поведать читателю. То же у Корнелии Войткевич: «Льют на землю светы небеса». В приведенной строчке слова лишены необходимой в поэзии индивидуальности, они не наполнены неповторимым жизненным содержанием. Условные, «среднестатистические» какие-то «светы», «небеса», «земля».

А вот Раиса Котовская оповещает о приходе осени — «с кончиной трав и бегством птицы». Мне, читателю, видимо, предлагается разделить минорное настроение автора. Рад бы, да не могу — птица неизвестной породы, не улетающая на юг — нет, но обращающаяся в бегство,— производит скорее комическое впечатление. Неточно и высокопарно!

К сожалению, подобные смазанные, непроявленные реалии все чаще появляются в современных стихах. Познакомившись с осенними lamentациями Котовской, я вспомнил строчки, встреченные несколько лет назад в журнале «Аврора»: «Беспородная птица прыгает по ветвям растенья какого-то». Тогда эта вызывающе непрописанная стихотворная картинка возмутила меня настолько, что я счел необходимым в обзоре ленинградской поэзии, опубликованном «Литературной газетой», обратить на нее внимание как на тревожный симптом...

Порою в роли «беспородной птицы» приходится оказываться и людям. Андрей Вершинин, один из представленных здесь авторов, с отстраненностью, сознаюсь, поразившей меня, повествует об отношениях людей в годы Великой Отечественной войны: «Ждали семеро одного, да теряли из виду его. Сколько их тогда потеряли? За сохранность не отвечали человеческих единиц. Сохраненные единицы отворачивали лица, отворачивали лица, зная участь оставленных лиц». Не знаю, так ли бесстрашно теряли «человеческие единицы» фронтовики, но убежден, что автор потерял в данном случае нравственные ориентиры, о которых необходимо помнить, когда ведешь речь о павших...

Другой характерный недостаток стихов молодых авторов — излишняя нравочувствительность. Да-да, стихотворцы, иной раз с такой легковесностью повествующие о войне, вдруг превращаются в страшных моралистов, под стать резонерам из пьес XVIII столетия.

«Ответь мне, почему твой хлеб,— грозно вопрошает Раиса Котовская и со значительностью заключает,— и я скажу, кто ты». Моралистический запал столь силен, что поэтесса, видимо, не заметила, что на вопрос: «Почему хлеб?» — уместнее ответить справкой о ценах в булочной, а не повествованием «про все свои труды». Несвободны от риторичности и стихи А. Устьянцева, М. Котомцевой.

Между тем поэзии не предназначена роль глашатая общих истин. Грозные вопросы и звонкие сентенции отнюдь не дело поэта. Он призван рассказать о жизни — по возможности правдиво и полно. Ну и еще — согреть свой рассказ сердечным теплом. «Схороненное выдохнув тепло», — говорит поэтесса о земле, готовящейся дать новый урожай. Думаю, то же можно сказать и о поэте, произносящем слово, нужное людям.

Родился в 1951 году в городе Озеры Московской области, служил в рядах Советской Армии, работал на Дальнем Востоке, в Саянах, на Северном Кавказе. Работал дробильщиком на штольне, помощником бурового мастера, конюхом, проходчиком канав и траншей, мастером производственного обучения в ПТУ, бетонщиком, сварщиком.

В настоящее время работает монтажником в одном из строительных управлений города Калинина.

Студент-заочник Литературного института имени А. М. Горького.

Стихи публиковались в журналах «Литературная учеба», «Студенческий меридиан», в альманахе «Истоки» и сборнике «Дерзость».

* * *

Травы, травы...
Как будто расправы вы ждете,
К горизонту когда,
Как слепые, качаясь, идете.
Ваши головы
Налиты медленно-бронзовым хмелем.
Босы, голы вы,
Что, кроме счастья родиться, имели?
Выпит зной,
И уже на подходе прохлады.
Колокольчик резной
Откачался под дугами радуг.
Стой, раздолье мое!
Не бреди подуставшим гульбищем.
Рано нас воронье
С голосами несатыми
Ищет!
Брось качаться и кланяться
И, как барка худая, крениться.
Нам ли с долей не справиться?!
Видишь: небо прозрачней криницы.
Будут новые дни,
Будет клевер зарею забрызган.
Ты же морю сродни,
Океану, что ветром обрыскан!
Хлынут звезды,
Как в подойник молочные струи.
Будут весны,
Дождей шелестящие струны.
Будет новое поле
Наливаться бунтующим соком!
Будет вольная воля
Диким соколом в небе высокоом!

ДЕРЕВЬЯ

И когда их небесным омоет дождем,
И снега полотняные выткнут рубахи,
Вдруг увижу: в таком же сыром
полумраке
Мы куда-то окраиной молча бредем.
Сквозь осеннюю хмарь проступают
стволы
Словно остовы полусгоревшего дома,
Где пылающей крышей обрушилась
крона
И смолистая копоть покрыла углы.
Эти липы мне снились потом
по ночам:
Сквозь потеки коры — человеечьи
морщины.
Мы искали тогда у деревьев защиты,
Не увидев лица, обращенного к нам.
Мы растеряны были и юной душой
Не могли относительность мира
постигнуть.
И сегодня, как поездом ею настигнут,
Я отброшен в минувшее болью чужой.
Даже странно: ее ощущать как свою,
Словно после слепого, по кругу,
блуждания
Из тоннеля выходишь на свет
сострадания
Как измученный жаждой выходит
к ручью.

Родилась в 1949 году в Богородском районе Кировской области. Окончила факультет станковой живописи и графики в заочном народном университете. Работала заведующей клубом. Сейчас работает учителем пения и рисования в школе в поселке Речном Кировской области.

Стихи публиковались в журналах «Волга» и «Уральский следопыт».

НЕМЕЦКИЙ ШТЫК

На поганое дело,
На кровавое дело
Создан был этот штык:
Стать губителем жизни,
Стать творителем смерти
Призван был этот штык.

Европейскою кровью
Он натешился вволю —
Фирмы «Золинген» штык.
Но с фашистской винтовки
Снял его под Москвою
Русый вятский мужик.

Много ветров умчалось.
Много листьев истлело.
Сточен профиль штыка:
Им щепает лучину
На растопку для печки
Внук того мужика.

СЫНУ

Мой мальчик, какая радость
Любить эту пашню, лес
И тучек кудрявых стадо
На синем лугу небес.
Любить этот ветер крепкий,
То солнечный, то в дождях,
И ласточек, как прищепки,
Повисших на проводах.

Мой мальчик, какая строгость
К себе самому нужна,
Чтобы твоя дорога
Была для людей важна.

Чтоб поле в тебе нуждалось,
Деревья, птенцы, цветы,
Чтоб жизнь на сердцах держалась
Миллионов таких, как ты.
Мой мальчик, как надо честно,
Как надо упрямо жить,
Чтоб нас ни любви, ни песни
Никто не сумел лишить.

* * *

Нет слова «Родина» напевней,
И слова сдержаннее нет.
Метели сыплют за деревней
В овраги, как в сусеки, снег.
Тропинка вьется по угору
Голубоватую тесьмой.
В мороз исходит паром прорубь,
Как будто жарко ей зимой!
Иду, чуть ведрами качая.
В моей душе светлынь, светлынь...
А льдинки, танца не кончая,
В ведре позванивают — «дзинь».

* * *

Баяна ремни я на плечи надену,
И выйду, робея, на клубную сцену,
И песню про синий платочек спою.
И маму представлю, что в вечер
весенний,
Сестренку мою посадив на колени,
«Платочек» поет вместо «баю-баю».
Сукна боевой материнской шинели
Коснуться ладони мои не успели —
Давно износила сестра пальтецо...
Но в память о маме остались медали,
Тревожные песни, спокойные дали
И тополь, роняющий пух на крыльцо.

**Живет и работает в деревне Борки Новгородской области.
В альманахе «Поэзия» публикуется впервые.**

* * *

Ночной ледок колесами расколот.
Пока еще не верится в снега.
И разбивается незванный холод
о теплый бок родного очага.
Моя река, венцом дома обрамив,
озябла и мерцает, как стекло.
И охают поля под тракторами,
схороненное выдохнув тепло.
Ревет земля, дрожит земля упруго,
забыв о боли, помогает плугу,
и нет единства этого цельней,
прекрасней, драматичней и больней.

А вечером машины, как в загоне
из упряжи натруженные кони,
глядят печально, дышат глубоко,
и пар валит клубами от боков.
День осенью вмещает по три дня —
так тяжела прощальная стерня.

У городского люда и машин
год по-иному расчленен и сложен,
и миф о сельской благостной тиши,
давно уже на правду непохожий,
вот здесь, у пропотевших тракторов,
лежит в грязи, колесами размятый.
И все-таки как здесь закат багров
и как кристально чист морозец
мятный...

СЕНОКОС

Взвизгивая и плача,
падают в полный рост
лапчатый одуванчик,
дрожащий лисохвост,

таволги метлы облезлые.
Короток свист косы.
По ледяному лезвию
текут ручьи росы.
Носится над поляной,
гудит комариный дым.
Утро. Пахнет пьяно
чаем луговым.
И марьяника жаркие свечи,
охнув, гаснут за рядом ряд.
А ладони мои и плечи
так горят,
что в пожаре этом азартном,
что в веселом таком огне
мне не только хмельно и жарко,
но и жалко,
и грустно мне —
ведь в прогресса крутом кипенье
наши дети — и то не все —
вот последние, кто успеет
по росе,
косовище сжимая ладное,
разворачивая плечо,
видеть — травы на лезвие падают
и роса по нему течет...
И, своей удивляясь силе
и сноровке точной руки,
знать — так предки наши косили
эти травы
у этой реки.
Дали все нам они на свете —
древних мест травяную стать
и упрямые руки эти,
не умеющие отдыхать.

А над лугом — туман, дымок ли?
И сияющий мой сапог
проплывает по травам мокрым
на изломе больших эпох.

Люди
забились в дома.
Ветер
истошно воет.
Падают,
падают,
падают листья —
навзничь...
Листья,
как бедные дети,
потерявшие матерей,
носятся по земле,
шумят и кричат без умолку...
Чилийская осень,
как птица с отрезанной
головой,
конвульсивно барахтается
под сапогом палача...

* * *

..Я долго верил
и не раз проверил.
То понял вдруг,
что так и не уйду,
что вечно,
там с собою не в ладу,
где разорву
торочный этот круг.
Где в силах...
И ушел в себя.
Замкнулся...

А жизнь идет,
и вертится земля,
и кто-то
верит искренне в любовь,
и кто-то
ни на грош в любовь не верит.
/ одного —
и завтра вся надежда,

другому —
все сегодня подавай!

А ты?
Тебе до «завтра» дела нет,
до лампочки тебе,
что будет после!
Ужель и впрямь
сошелся клином свет?..
Ужель и впрямь?..
Когда бы хоть не видеть,
не видеть и не слышать ничего,
оглохнуть бы сейчас
на пару лет,
ослепнуть бы,
чтоб не возненавидеть!..

Ты стала мне напоминать театр,
в который так легко
достать билет...

Переводы с азербайджанского
Виктора Коркия

И в этой сияющей зале,
В пучине летящих огней
Все это, что вы мне сказали,
Не мне предназначено — ей.

И робость, и шепот невнятный —
Все ей, а не мне... Ну и что ж?
Мне очень близка и понятна
Ее благородная ложь.

* * *

Столько снега в сердце было,
Что хватило бы на всех...
Человека полюбила —
И затаил этот снег.
Зот и плачь теперь, сестрица:
Слезы — талая вода.
Умывайся снеговицей —
Будешь вечно молода.

ТВОРЧЕСТВО

То ли думала,
То ли мечтала,
Про себя повторяя тайком,
Что мне пламя свечи нашептало
Исступленным своим языком.

И за шепотом,
Трепетом,
Треском
Золотого ночного огня
Не расслышала, что перелески
Расцвели
И глядят на меня.

Вот как вышло!
По белому свету
Не один раззвонила секрет...
Только в том ни вины моей нету,
Ни заслуги тем более нет.

Родилась в Алма-Ате. Окончила 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. Работает в институте иммунологии.

Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Смена» в коллективном сборнике «Весенние голоса».

* * *

Вот позади порт Астрахани пестрый,
заваленный арбузами базар,
торговый и нетрезвый перекресток
и пристани полуночный угар.

В цепях огней наш белый дом отчалил,
навстречу хлынет волжская вода,
и берега без страха и печали
ведут впотьмах неведомо куда.

Под звездами, собравшимися
в гроздья,
с горящей половиною луны
и вспышками вдоль горизонта
в грозах,
созревших на равнинах тишины.

И с палубы полуденного жара —
не знала я, как именно и где,—
откроется старинная Самара
стоп-кадром памяти, запаянном во мне.

На черно-белой улице Рабочей,
дом деревянный, низкое крыльцо —
но перед взором сыплет мелкий
почерк
письма с дороги.

Светлое лицо
на фотографии военного похода,
друзья-товарищи. Но что же там еще?
Ну а еще — огромная свобода
и суховей, что дышит сквозь плечо
в окопах восемнадцатого года...

Художник, агроном и гражданин,
ты, так любивший землю, воздух, воду,
остался там, свободною храним,—
в окопах восемнадцатого года.

* * *

Слышишь ты или не слышишь,
милый мой
Это Китеж иль не Китеж
теремной?
Затонул в лугах покосных
край оград,
Тонет в солнце, тонет в росах
светлый град
Посмотри, синее моря здесь леса,
Когда льют на землю светы небеса.

Это Китеж иль не Китеж,
милый мой
Меж водой и тяжким небом
пред грозой
Он в зрачках остановился,
город бел,
И на сердце опустился,
тих и цел.

* * *

Я плыла по реке, по зеленой вод
в одновесельной лодке,
а справа
по песчаному дну,
то ль во сне иль плену
расстилались придонные травы.
Речка узкой была, не текла, а цвела
и сверкала стеклом
среди леса,
она шла в берегах, в освещенных
места
среди зарослей и среди лета.
То мелела, светлела
и пела легко,

то таилась тайною древней,
и, к воде пробираясь, ползли глубоко
узловатые корни деревьев.
Лес огромен стоял,
он вздыхал и ворчал,
сотворял тихо живность земную,
и внимательным взглядом олень провожал
плоскодонную лодку людскую.
Отдыхало весло,
несмышленной птенца
время тешилось, медлило действие...
Мне казалось, той речке не будет конца
среди Родины и среди детства.

* * *

В неуютном своем, в беспорядке
зимних дней, примерзавших к стеклу,
убегавших толпой без оглядки,
рухнувших в полуночную мглу,

в малоснежном покрове, в сиротстве
проступавшей из снега земли,
с гололедом в затертой коросте,
без звезды, без зари, без любви,

в этой малости дней, оскуденье,
в черноте за окном и тоске
все ж сияло святое мгновенье
ярче чуда на дальней Оке.

От реки, от зеленой осоки,
забираясь все выше в откос,
просека между красных высоких
сильных сосен и белых берез

уводила неспешно, подробно
в разноцветной траве, среди птиц
к дому старому в окнах просторных
с тишиной и красой черепиц.

Там фигурки египетских мумий,
акварели, рисунки, фарфор,

но всего притягательней будет
твой, хозяин, задумчивый взор,

из портрета глядящий в столетье,
на толпу, что по дому гудит,
восклицаньями и междометьями
воздух в зале раббит и омыт.

Что мерещилось в той отдаленной
жизни сильной среди тишины —
только труд, только подвиг

бессонный

ради Родины, ради страны.

Под ладонью перила — медова
золотая древесная ткань.

Но молчит всю сутью суровой
холст свободный, подрамника

грань —

как известье, что больше, чем тайна,
жизнь художника — тайна без дна.

И по всей по январской окраине
этой тайной щедр и бедна,

словно светом каким-то объята,
я живу и со мной — далеки —
сосны красные, белые пятна,
дом и тихая радость Оки.

Родился в 1955 году в Ижевске. Окончил механический институт. Работает на радиозаводе инженером. Стихи публиковались в альманахе «Истоки».

* * *

Покуда живы на земле
старухи с мужскими руками,
наезднику — быть постоянно
в седле,
быть пекарю — с пирогами.

И в темной, туманной и стонущей
мгле,
готовой сгуститься над ними,
произрастают у них на столе
цветы, оставаясь живыми.

О чем-то им песню поет за стеной
сверчок. Нависает дремота.
И кружится, кружится
надо мной
в пространстве высокая нота.

ЭВАКУАЦИЯ

Отдыхали и спали в вагонах,
в переполненных эшелонах.
Да какие там сны!
Лишь бы жить от зимы до весны.

Кочевала Россия. Куда там!
По дорогам, по брошенным хатам,
мимо сел и родных городов;
перетаскивали заводы,
счет на месяцы — не на годы,
и — завод к работе готов.

Ждали семеро одного,
да теряли из виду его.

Сколько их тогда потеряли?
За сохранность не отвечали
человеческих единиц.

Сохраненные единицы
отворачивали лица,
отворачивали лица,
зная участь оставленных лиц.

Отставшие из отставших,
отставшие из отступавших
вмещались в облачке пыли
и снами тревожными были.

* * *

Я гашу тебя, лампа ночная.
Ты погаснешь в январской ночи.
Отлетают во тьму, отлетают
голубые, дневные лучи.

И навалится тьма на округу,
и расширятся ночи зрачки,
будем ждать заунывную вьюгу,
протирая слепые очки

безнадежно лоснящихся окон,
слушать шелест и чьи-то шаги
и искать за провалами стекол
очертанья затихшей пурги.

* * *

Мы столько раз стояли у порога —
Переступить пора.
И мартовская вьюжная морока —
Последняя игра.

И снег, что днем был предан зимней крыше,
Сорвется ночью вниз.
Я за порогом стон его услышу
И ветра свист...

НОЧНОЙ ЗВОНОК

Бывает все равно, в чей ночью дом звонить.
Тебе или ему. Дождь льет направо.
Дождинку на стекле я выпрямляю в нить
И в номер — как в судьбу, и все равно — в какую.

Один молчит — гудки, короткие, тупые.
Другой молчит, и тот, что нужен, как глоток...
А я сижу и вру, что все равно, какие
Мне цифры набирать, в какой ступить поток.

АВГУСТ

Осыпается август.
И утра прохладны и росны.
Над протокой гусиной
Немолчный висит разговор.
И в дупле под окном
Пробуждаются дикие осы,
Раскричался угод,
Заглушая лягушечий хор...
Грустно пахнет полынь,
И татарник сиренево нежен,
Мятный чай остывает
В подсиненном утром стекле.
Осыпается август.
Задумчив, в движениях неспешен.
Осыпается жизнь.
И запутался ветер в ветле...

НАСИБ НАБИОГЛЫ

Родился в 1954 году в Кельбаджарском районе Азербайджанской ССР. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Публикуется в республиканской периодической печати.

ЧАЙКЕНД

В твоих объятьях весело играя,
Минуло детство радостно, Чайкенд.
Огонь любви зажгла земля родная,
Не погасить вовек его, Чайкенд.

Мои следы остались на вершине,
Их память схватит крепче, чем цемент.
Там над гнездом оставленным поныне
Разносит эхо голос мой Чайкенд.

Как хороши цветущие поляны,
Моей земли единый постамент.
Как мотылек, от счастья полупьяный,
На огонек лечу к тебе, Чайкенд.

Там, за кустом, появится косуля,
Там красота, достойная легенд,
Там куропатка крыльями взмахнула.
Слов не хватает, милый мой Чайкенд.

Я разделю всегда с тобою горе.
Мы будем вместе в радостный момент.
В твои объятья возвращаюсь вскоре,
Куда б судьба ни бросила, Чайкенд.

НЕ НАЗЫВАЙ СЫНА МОИМ ИМЕНЕМ

И у любви окончилось терпенье,
Года разлуки не проходят просто так.
Пока тоска искала утешенье,
Тебе судьба подать успела знак.
Ты отняла мечты и думы прежние,
С дороги сбила. В чем мои грехи?
Ты заронила в душу чувства нежные,
Чтоб написал я первые стихи.
Года разлуки, сны-воспоминания,
Их никаким умом не одолеть.

Я отдаю тебе свое дыхание —
Чужим дыханьем руки не согреть.
Дожди тоски застали в ожидании,
Я опоздал перешагнуть порог.
Ушли мечты, заветные желания.
И я другим в глаза смотреть не мог.
Никто на свете больше мне не нравится.
Остыл, не понимаю ничего.
Ты говорила: «Я твоя красавица!»
Но ты красивой стала для него.
Ты не жалея и правильно пойми меня,
Пусть жизнь моя бесплодно отцветет.
Не называйте сына моим именем,
А то ему в любви не повезет.

Переводы с азербайджанского
Леонида Панина

КАСПИЙ

Валы идут, друг друга пеной кроя,—
припасть губами к твердой суши — краю,
и на песок мельчайший мошкарюю,
блестящим роем брызги оседают.

Вокруг гляжу веселыми глазами,
как вышки кружат дружным хороводом.
Мешается с людскими голосами
крик чаек от восхода до захода.

Капризен Каспий. Вдруг проявит норов:
вчера с землю был нежнее брата,
а тут встают воды зеленой горы,
как будто берег морю враг заклый.

А завтра небо голубеет жгуче
над ясною морской голубизною —
гармония палитры и созвучий
мне чудится и в мире, и в прибое.

И волны вновь бегут в игре и ласке,
хотят добраться до девичьей башни,
как будто ей поведать жаждет Каспий
слова какой-то мудрости вчерашней.

Перевод Натальи Зелинской

Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета и аспирантуру. Стихи были опубликованы в газетах «Сельский труженик», «Приуралье», в журнале «Москва».

Участница VI Московского совещания молодых литераторов.

* * *

Я верю, что наша планета
Еще, как и я,— молода.
Что в будущем больше рассветов,
Чем в прошлом. Что сможет она,

От крови отмыться, и плесень
По силам — сорвать, иссушить,
И язвы срastутся...

Но если б
Вы мне предложили прожить

Эпоху, на выбор, другую,
Грядущую — проще, светлей,—
Я выбрала б эту — такую,
Какую назвала своей...

ЗИМОЙ

Окраин белые дома —
Как стеллажи в библиотеке.
И мимо полок скачут дети,
Пенсионер в большом берете,
А книга ЖЭКу отдана.
Но вот весна черней и четче.

Пришла! Как вскрик, обнажена.
Ее придумал переводчик,
Чтобы озвучить многоточья.
Чтоб стала повесть человекья
Томительней — обожена
Своим вперед порывом встречным
И тайным подголоском млечным,
Что людям лишь строка нужна —
Одна на всех — и бесконечна.

Окраин белые дома —
Как стеллажи в библиотеке.
И в эти полки входят дети,
Чтоб, как в дома, уйти в тома!

В МЕТРО

В метро люди иные
Едут серьезные,
Словно сидят перед фотоаппаратом,
Чтобы сняться на паспорт
Или другое какое-нибудь удостоверение
А я еду и думаю:
«Дорогие мои!
Зачем вы так похожи
На свои документы?»

Наши публикации

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ВРЕМЯ. ПРОСТРАНСТВО. СЛОВО...

Он вошел в русскую поэзию вместе с Павлом Васильевым, Леонидом Мартыновым, Евгением Забелиным — новой плеядой поэтов, в чьих стихах слышалось дыхание необъятных просторов Сибири и пробудившейся Азии. Его первые стихи и рассказы воплотили красочный мир Самарканда, Бухары, Синьцзяня. Туркестанские степи и «глыбы розового хрустала на висках угрюмого Тянь-Шаня», стихия скитальчества, путешествий и открытий, шум и разноцветье мира, который уже слышал новые звуки, заглушающие гомон привычного бытия, мир, в котором переплетались уклады различных эпох, подчас отстоящих друг от друга на несколько столетий, — все это не могло оставить равнодушным читателя первых рассказов Сергея Маркова, появившихся в печати в начале 30-х годов, так же как не оставит равнодушным читателя современного, знающего более или менее полно все творчество писателя за 40 с лишним лет.

Подобно тому как может ошеломить человека, впервые посетившего азиатский базар, многоязычный гомон, избыток красок, экзотика имен и плодов, так же завораживает «акмеистическая» яркость ранних стихов Сергея Маркова. Но самоцельное «украшательство» здесь ни при чем. Поэт щедро рассыпает по строчкам непривычные русскому слуху слова, и кажется, что они изначально существовали в нашем мире, может быть, потому, что в период долгих странствий Сергей Марков собственным опытом утверждал неизбежность тысячелетней традиции восприятия русским сознанием сокровищ иных культур:

Я мерил жизнь (и этим горд)
И на степной салтык.
Живя в стране трех древних орд,
Я слышал их язык.

В бессмертном «Слове о полку»,
Как буйная трава,
Вросли в славянскую строку
Кыпчакские слова.

Судьба подчас круто обходила с русским поэтом. Сергею Маркову, исходившему знойные южные степи и пустыни, в середине 30-х годов довелось побывать на русском Севере, в Беломорье. Иная природа, иной язык, иные люди... И все — изначально близкое, родное поэту, вятичу по рождению. Позднее для него настанет время оценки происшедшего. «Меня неписанный закон терзал в моей стране» — так отзовется в его стихах воспоминание о пережитом. А в те годы создавался цикл «северных» стихов. Удивительный мир открылся тем, кто читал этот цикл, опубликованный через несколько лет. Мезенский край с его суровой природой нашел свое поэтическое воплощение в новых стихах Сергея Маркова. То же буйство красок, та же щедрость в изображении примет зримо, вещного, природного мира, что и в стихах об Азии... И совершенно иное ощущение бытия, течения времени. В «азиатском» цикле господствовала стихия «горячего ветра», движения, порыва... Здесь сама северная природа требует остановиться, нето-

ропливо отсчитать прожитые дни, восхититься, но восхититься сдержанно угрюмой красотой северных лесов, необъятной гладью ледяного моря, бесконечными снежными далями...

В тундре ягель щиплют олени.
На угоре дым от костров,
И шатаются по Мезени
Восемь шальных братьев-ветров.

Странник, землепроходец, поэт, историк... Сергея Маркова всю жизнь волновали судьбы людей, которых он ощущал близкими себе по духу. «Чужая жизнь безжалостней моей Зовет меня...» Русские первопроходцы, географы, ученые — сколько их воплотило его неторопливое перо... Им написаны биографические повести о Дежневе, Пржевальском, Миклухе-Маклае, Чокане Валиханове, первооткрывателях «Русской Америки». И как в собственных стихах, необозримые пространства осваивает он, устремляясь мыслью за своими героями. От Аляски до Новой Гвинеи, от Калифорнии до Кульджи и Тибета... Отдельные рассказы о географических открытиях в разных частях земного шара составили книгу «Земной круг», которая снискала признание как ученых-географов, так и рядовых читателей.

«Книги имеют свою судьбу»... И подчас их судьба напоминает нелегкую судьбу их творцов. Еще в середине 30-х годов на Севере С. Марков закончил роман «Юконский ворон» — повествование о Лаврентии Загоскине, первопроходце с берегов аляскинской реки Кускоквима. Почти десять лет это произведение считалось утерянным, пока не нашелся список, по которому роман и был напечатан уже в конце 40-х годов.

В одном из стихотворений «северного» цикла, подводя итоги своей бурной и нелегкой жизни, поэт обмолвился:

Если я когда-нибудь умру,
Все равно услышишь на ветру
Голос мой в серебряном просторе.

Пророчество его сбылось. Голос Сергея Маркова явственно слышен и теперь, когда поэта уже нет рядом с нами. И, представляя читателю ранее не опубликованные «молодые» стихи, в год, когда автору исполнилось бы 80 лет, мы хотим отдать долг памяти замечательному русскому человеку, поэту, исследователю, землепроходцу...

СЕРГЕЙ МАРКОВ

ГОРБУНЫ

Раз меня встречали у колодца,
Где вода густа и солона,
Двое хитрых вкрадчивых уродца,
Два подслеповатых горбуна.

Оба, зная, что они богаты
Влагой и зеленою тропой,
Горбуны несляханную плату
Запросили с нас за водопой.

Рыбьи рты улыбка искривила,
Липло к потным пальцам серебро,

Гадкий смех, противней злого ила,
Уколосл уродца под ребро.

Он хрипел: «Мы хилы и горбаты,
Мы живем гадюками в пыли,
Мы довольны, путник, щедрой
платой,

Мы на все готовы... Лишь вели!»

Мой верблюд качал зеленой
мордой,

Я подумал, замолчавши вдруг:
«Почему же он легко и гордо
Носит горб и пропотевший выюк?»

Разве за этим
я строил Сартлам?
Л. М.

Нам для разлуки достался
Сартлам —
Город в степи змеиной и синей...
Кровь приливала к горячим губам,
Крови пугались и ветер и иней.

Ветер стреножим! Уйдя от погонь,
Он задрожал, обессиленный светом,
Губы губами прощальными тронь —
Пламя прильнет к багровеющим
метам.

Длинный, как пуля... Мгновенный...
Таков

Этот огонь, ломающий брови.
Этот огонь — полыханье песков,
Крылья костра на последнем становье.
Не рассказать ни друзьям, ни врагу,
Пусть я и хитрый, и черный,
и грубый,—
Темную опухоль я берегу,
Я сберегаю прощальные губы.

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Ты думаешь, не спавши до утра,
Отравлен был я горечью измены?
Да! Мне противна вечная игра,
Похожая на взбалтыванье пены.

И вот еще очередной удар,
Еще одна законная отместка:
Твоя любовь — блестящий мыльный
шар,
Он умирает, лопаясь от треска.

Я осуждаю бесполезный труд
И отвергаю легкую награду,
Стихи к тебе рождались,
но умрут,
Как тело, подлежащее распаду.

* * *

Брод, на другие совсем непохожий,
Желтые травы, змеиный песок,
В обуви тонкой из желтой кожи
Как ты пройдешь шумящий поток?

В наши века сменила ботфорты
Пара простых и узких штиблет,
Наши следы, как клинки, истерты,
Каждый куст ветрами одет.

И нужно было немало силы,
Камень и лес не сказали, чьи
Смуглые руки переносили
Хрупкое тело через ручьи.

* * *

Фальшивомонетчица-полночь несет
В тучах луну голубого чекана.
О, мастерица холодных высот,
Эта монета легка и обманна.
Ночь, я раскрыл твой нехитрый
обман:
Солнце ты плавяшь из олова Леты.
Как разгадать мне высокий чекан
Самой блестящей и звонкой монеты?

Разум! Любовь кислотой протрави!
Может, она потускнела не сразу б!
Кто золотое литье любви,
Словно монету, пробует на зуб?

ДРЕВНЯЯ БЫЛЬ

Мать отошла, оставив дитя,
Подняв на плечо кувшин.
Прынул орел, добычу когтя,
И взмыл до самых вершин.

Все подчинила себе тоска:
Камни лишились сил,
Стали и небо и облака
Темнее земных могил.

Стужей дохнула небесная пасть.
Властитель бурь, неужель
Ты дашь кровинке ребенка упасть
В пустую его колыбель?

Гад и крылатый хищник — друзья,
Мать цепенела, а к ней,
На бесконечных кольцах скользя,
Крался пятнистый змей.

Здесь невозможны спасенье и месть,
Затмился последний свет.
Страшные сказки в мире есть —
Живут по тысяче лет.

ОРЛИНЫЙ СОН

Мне чудится: сверкают чары
И на пиру — кудряв и юн —
Георгий Русский, муж Тамары,
Внимает звону громких струн.

И в гордой песне — сталь, и пламя,
И мудрости спокойный снег...
Взлетает суздальское знамя,
Орлы стремятся на Казбек.

Сказал Георгий: «Песня эта
Вином и солнцем налита;
Ей не остаться без ответа
В просторах вечности, Шота.

И вот ответ... В кровавом лоне
Сей дивный выкован венец,
И жил у половцев в полоне
Мой верный воин и певец.

Он тосковал под звездным кровом
Душою пленного певца
И на столетья вещим словом,
Как ты, заморозил сердца».

Сказал Шота: «Мое волнение
Дороже вечного венца,

Дышу палящим вдохновеньем
И славой русского певца!»

Как молнии, сверкнули руки,
И звуки воплотились в быль:
Гудят натянутые луки,
И на заре шумит ковыль.

Слова — что струны из колчана...
Благословен тот день и час,
Когда орлиный сон Бояна
Крылами осенил Кавказ.

ТЕНИ ЭПОХ

Леониду Мартынову

На окнах вагона косые лучи,
Хитрее, чем взоры сарта...
Так бейся же, сердце, бунтуй и стучи
В соседстве с пробитой плацкартой!

Ведь это — мираж шафранных сторон,
Томящий, как свист аркана,
Под грохот вагонов летит под уклон
Скользящая тень Тамерлана.

Разрубленный шлем над медной скулой,
И брови — две черные птицы,
И сердце пробито кайсацкой стрелой,
Но сердцу велено биться!

...Кипит на могучих волнах зари
Кизячьего дыма пена,
Тебя я узнал, пастушеский Рим,
Столицу табунного плена!

Песок твоих улиц — желтый аргал * —
Горяч, как нож под халатом,
Напрасно я в переулках искал
Дороги к Семи Палатам.

Века уложили их в тесный гроб
Зерном грядущего чуда,
Чтоб окна злобно косил небоскреб
На шаг ленивый верблюда.

* А р г а л — сухой помет скота, идущий на топливо.

Наездник промчался... И лошади пах —
Крыло трепещущей птицы,
И ветер остыл у меня на губах
И тихо лег на ресницы.

Но... третий звонок! К посадке
успей!

Гудков торопливых всплески...
И, путая ноги в железе цепей,
Хрипя, прошел Достоевский.

И — кто угадает нечаянность встреч?
Нежданное — сердцу знакомо...
Гудок перерубит сиплую речь
Певца кандалного дома.

Подрубленный дымом, летит под откос
Ощипанный, чахлый тополь.
И ты уйдешь сейчас от колес
В тоске своей, Сергиополь!

...Снега, облака и кипень садов,
Цветенья пухлая вата,
И город назвали: «Отец плодов»,
А имя звучит: «Алма-Ата»*.

О, ласковый, тихий, белый старик,
Прими стальных постояльцев,
На землю яблоки ярче гвоздик
Роняй из зеленых пальцев!

Вспотевший хан, зажигая взгляд,
Что густ, как баранье сало,
Роднил здесь с белым яблоком яд
И им угощал вассала.

В деревьях сок — хмельнее руды,
Как кровь боится пореза,

Но ты, Джеты-Су **, обменяешь сады
На тысячу верст железа!

...Считавший за солнце отблеск грозы
В разливе барханного света,
Пржевальский кусал густые усы
И бредил зноем Тибета.

И вот он сам, его караван
Шагает с поездом рядом,
Туда, где в ущельях звенит туман,
Закрыв пути водопадам.

Чего ты ищешь у каменных плеч,
Обрюзгший и синий, как пуля?
Тебе суждено, успокоившись, лечь
В холодный ил Иссык-Куля!

Чугун и сталь рассыпают бег
И версты — смятенное стадо...
Мы раньше тебя приедем в Пишпек,
Седеющий конкистадор!

...Я только сегодня нежданно смог,
С упорством взмыленной плети,
Загнать смятенные тени эпох
За грани темных столетий.

Копье опустив, рассержен и хмур,
Чугунному вняв совету,
Спешి назад, побежденный Тимур ***,
Поить скакуна из Леты.

...Усталый дым к деревьям приник,
Сейчас он с сердцем в союзе,
Ну что ж! Кричи скорей, проводник:
«Стоянка! Станция Фрунзе!»

* Здесь сознательная вольность: в слове «ата» ударение делается на последнем слоге.

** Дж е т ы - С у — Семиречье, буквально: Семь Вод.

*** Т и м у р — тот же Тамерлан.

И богодьявола не ищете,
Как вас не ищет он и сам.

И как смешно, что, взяв фонарь, идти
Не тщитесь вы во тьме, причем,
Нелюбопытные, не дарите
Вы хоть себя его лучом.

Я вашим нравам и обычаям
Чужд! Я бываю лишь во сне
У вас в стране, где с безразличием
Вы улыбаетесь и мне.

И прочь от вас бегу в досаде я,
Что не сумел извлечь урок...
Какая странная Аркадия
Ваш идиллический мирок!

ТАЙНА НЕДР

Холодны воды
На снежном Памире,
Но, уходя под скалистые своды
И проходя сквозь подземные ходы,
Преображаются в недрах Сибири
В теплые воды, в горячие воды,
Чтобы сквозь скважины бить на Таймыре.
Вот как устроено все в этом мире,
В этом великая хитрость природы.
Только неясно нам: что там их греет —
Пламя ли старое в недрах стареет,
Иль нагревается час там от часа
Прежде холодная сонная масса?
Это, конечно, кто как разумеет.
Позже до сути добраться удастся!

ПРИЗРАК МИНЕРАЛА

Природа
Хлам перебирала
И, тайну тайн доверив нам,
Своим любимейшим сынам,
Явила призрак минерала,

Кристалл,
Которого не стало,

Лишь слепок глинистый с него,
Чтоб развалиться, ждал устало
Прикосновенья твоего.

Вот этот
Призрак минерала,
Чья мощь в земле перегорала
С лихими струями в борьбе,

Природа
Не перевирала,
А что-то долго выбирала,
И точно о людской судьбе
Она напомнила тебе.

* * *

О многом
Трудно догадаться,
Не сразу все в сознание ляжет,
Но и не стоит дожидаться,
Пока о всем другие скажут.

И если
Нечто
Нам навстречу
Летящее я не отмечу,
То это все заметит воздух,
Земля, вода и небо в звездах.

Об этом
Свиснут
Птичьи крылья,
Безмолвие вдруг лопнет с шумом,
Что листья вдруг заговорили
О том, о чем молчать ты вздумал.

Все это
Перейдет в ворчанье,
Которого и не утишишь.
Вот чем кончается молчанье
О том, что чуешь, видишь, слышишь.

* * *

Исчезли
Все сомнения мои.

По сторонам все ясно, пусто, чисто.
Друзья вспорхнули, словно воробьи
При приближенье
Велосипедиста.

Быть может, он — мое второе я,
А если это — велосипедистка,
То, может быть, она — душа моя,
Привстав с седла, к рулю склонилась низко.

Она летит,
И не виляет руль,
И не дрожит мерцающая рама...
Быстрее света, музыки и пуль,
Лишь по прямой
Летит она упрямо.

Прямая,
Как была ты, так и будь
Кратчайшим расстоянием между точек,
Ведь иначе придется обогнуть
Так много ям, так много разных кочек.

И пусть
Равнину
Ломаной дугой,
Отрезков еле мыслимую суммой
Воображает кто-нибудь другой.
А ты, душа, об этом и
не думай!

РАЗВЕ ЗНАЛ ДЕМОКРИТ

Вашу мысль исказят
И как можно все сделают хуже,
Но реванш будет взят
Вами, бедные мудрые мужи.

Разве знал Демокрит,
Чем чревата догадка про атом?
Кто его укорит
За безумия в мире проклятом?
А Эйнштейна письмо!
Президенту писал, что в ответе
Мы за каждый свой шаг; не само
По себе все творится на свете!

Очень вам не везло!
Величайшие помыслы ваши
Обращали во зло.
Но и зла переполнится чаша:
Станет сталь столь крепка,
Что отскочит метчайшая пуля
И настигнет стрелка
Иль застрянет в дымящемся дуле.

Тот, кто пламенный бич
Человечеству поднял на муку,—
Берегись! Паралич
Паразит занесенную руку.
Поджигатель сгорит,
И палач сам себя обезглавит...

Разве знал Демокрит,
Кто он есть и во что его ставят!

Ранее не опубликованные стихи подготовлены к печати
Г. Суховой-Мартыновой

ОКНО ПОЭТА А. И. Люкин. 1919—1968

В распахнутую форточку доносятся дальние крики рабочей Волги. Робко скребется в оконное стекло тополиная ветка, заглядывает на письменный стол.

Вырос, дотянулся до третьего этажа тополь, а в доме Люкиных все неизменно, все, как двадцать лет назад — при жизни Александра Ивановича. Александра Павлова, вдова поэта, поясняет:

— Получили ордер, когда Саша учился в Москве на литературных курсах. Все теснились в частных да коммунальных комнатенках, а тут своя, двухкомнатная. Саша сразу облюбовал место для письменного стола у окошка. Звали, рассказывал, его в южные города, на новостройки, да что там — из Сормова, от своих никуда. Письменный стол ему братья на новоселье подарили...

Люкина я видела единственный раз. Помню, он приехал в наше село на встречу с молодежью. Кто-то из литгрупповцев перед началом вечера поэзии сунулся к нему со своими тетрадками. «Добро,— ответил Александр Иванович,— после встречи поговорим». Но многое нам стало понятно, когда он начал читать свои стихи, пересыпая рассказами, ответами на вопросы. И вскоре весь его непритязательный вид, уважительная манера держаться, утверждение, казалось бы, известных истин в наших глазах приобрели огромную значимость, поэтическую сущность. Каждый сам себе отвечал на вопрос, слушая эти стихи: как писать, о чем писать?

Константин Федин в докладе на IV съезде писателей СССР привел цитату из стихотворения А. Люкина «Напутствие»: «...Вот как говорит молодой поэт наших дней, отвечая своим товарищам и самому себе на вопрос — кто он?

Крестьянский сын,
Воспитанник завода
И, волею судеб, интеллигент.

Строки характеризуют не только этого одного поэта. Они конспект становления нашей литературы и, хотелось бы сказать, в известной мере — схема ее программы».

Лаконична и сдержанна биографическая справка, написанная Люкиным для предисловия к третьей книге «Беспокойство», выпущенной Волго-Вятским книжным издательством (Горький, 1965): «Я родился в 1919 году 29 марта в селе Шковерка Княгининского района Горьковской области.

Семья наша была большая: отец Иван Васильевич, мать Анна Ивановна и семеро детей, я — самый старший.

Четырехлетнюю сельскую школу закончил без особого труда. Школа находилась недалеко и не требовала от отца больших денег. А вот с семилеткой дело обстояло сложнее. Как старший, я был первым помощником у отца, и ему не хотелось отпускать меня далеко от дома. Однако мне удалось уговорить родителей, и с большими трудностями в 1934 году я окончил семилетнюю школу.

Дальше учиться надо было в городе. Для этого нужны были средства, которых у отца не оказалось. Я стал проситься в город на работу, с тем чтобы учиться вечерами.

Но учиться мне не пришлось. Почему? Долго рассказывать. С того времени и по 1961 год работал на сормовских заводах то слесарем, то контролером ОТК. Участвовал в боях Великой Отечественной войны. Отец и я — оба были минерами.

Стихи писать начал еще в пятом классе, но напечатался впервые в 1949 году в заводской многотиражке. Через девять лет после этого в Горьком вышел сборник стихов «Моизнакомые», с которым в 1961 году меня приняли в члены Союза советских писателей и на Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве. В 1964 году вступил в партию.

Закончив учебу, приехал в Горький с новой книжкой стихов «Жизнь», которая вышла в издательстве «Советский писатель».

Около трех лет прожил сормовский поэт после того, как вышла книга с этим предисловием. В эти годы «Советский писатель» выпускает книгу «Судьбы» (1966), Волго-Вятское издательство готовит к выходу сборник «Раздумье» (1969). Вовсю шла работа над рукописью книги «За хлеб, за соль» (М., «Советская Россия», 1970).

В ночь на 11 февраля 1968 года нелепый случай оборвал жизнь Александра Ивановича Люкина. Под утро его нашли убитым в подъезде... Поэту не исполнилось и пятидесяти.

Замечено, что поэты, люди, обдумывающие житье-бытье, как бы прудугадывают свой конец. Так и у Люкина:

На войне
Жизнь теряют быстро.
Взвоят мина
И лопнет, звеня.
Не оглядываться на выстрел,
Гордой стати учили меня.
И случится:
В гражданской стычке,
Презируя какую-то гнусь,
Я доверюсь вот этой привычке
Так, что до смерти обманусь,

Нередко мы становимся свидетелями того, что при жизни автора умирают его произведения. Читая стихи «поэтов хороших и разных», невольно задаюсь вопросом: в чем секрет современности, жизненной силы люкинского слова?

Мало читают стихов рабочие,
Мало.
Видно, в строчках,
Которыми потчует,
Нет металла.
Видно, хлебом да солью
Стихи не стали,
Или больны мы
Не тою болью,
Чтоб нас читали.

Искренность, совестливость, отточенная форма. Откровенная ясность в разговоре с читателем. И за каждой строкой он сам, его судьба — неповторимая и достойная подражания.

В дни сомнений меня влечет в дом Люкиных. И опять Александра Павловна уводит в мир поэта:

— Настенные часы купили с первым гонораром, не ходят и не фасонные, для памяти висят.

— А картины? — указываю я на две громоздкие копии с известных полотен Перова. Тон серый, сдержанный.

— Сашина работа, и рамки сам мастерил. Только вот цвета не различал, это у него с рождения, я, бывало, стою за спиной, цвета называю.

Люкин дальтоник? Возможно, лаконизм, обдуманная сдержанность, отсутствие языковых украшательств объясняются и свойством природы, врожденной особенностью? Мы, наша критика, в сущности, слишком нелюбопытны.

Подхожу к письменному столу со старомодной чернильницей:

Мраморный лев
Стережет чернила,
Чтобы меня
К перу не манило.

Если меня
Поманит к перу,
Я и живого
Льва уберу.

Какое владение точной речью! Простодушная улыбка, а за ней — уверенность в собственной силе.

Александра Павловна вытаскивает на белый свет объемистый чемодан рукописей, оставляет меня один на один с Александром Ивановичем Люкиным. Поднимаю крышку, беру наугад — выдавший виды блокнот военных лет с карандашными изображениями окопных друзей, угадывается и автопортрет молодого Люкина в шинели, с бравыми усиками (фронтальные фотографии не сохранились). Дневниковые записи. Две объемистые тетради под заголовком «Искорки» — это своего рода афористические раздумья о жизни и о себе — с этой гранью таланта Люкина читатель еще не знаком. Наконец, передо мной множество черновых вариантов тех стихотворений, что давно на памяти. Как же не просто давались и ясность, и улыбка...



Звонят. На пороге молодая женщина с мальчиком лет пяти. Знакомимся. Татьяна Ракова руководит городским детским клубом, давно занимается с ребятами творчеством Люкина, прошлым летом устроили путешествие в родное село Александра Ивановича Шковерку, сфотографировались у родительского дома поэта, записали воспоминания о нем и, конечно, всласть напились ключевой воды из не раз воспетого родника «в Дябилихе, у красного пригорка».

Позднее к нашему чаепитию присоединяется Евгений — сын Люкиных, он шофер, сегодня припозднился, вернулся из дальней командировки, пришлось с мотором покопаться. Снял рабочую куртку, долго умывался.

— Бывало, бегу со второй смены, — рассказывала тем временем Александра Павловна, — на весь рабочий поселок одно наше окно светит, как бы поздно ни пришла — ждет, работает за столом. Не раз уговаривал меня уйти из литейного цеха, да я отнекивалась — с людьми свыклась, с коллективом. Видела, ценит меня за эту привязанность муж.

Любить людей
За их тяжелый труд —
Такого счастья
Век не отберут.

Но может быть
И горькое в судьбе:
Ты все отдашь,
Но — ничего тебе.

Об этом счастье
С детства я узнал:
Что людям дал,
Тем и богаче стал.

Тогда с обидой
Ни к кому не лезь —
Такое счастье
Лишь у сильных есть.

Через несколько дней мы встретились в районном Доме культуры, где отмечался день рождения А. И. Люкина. Пришли братья Люкина, все они сормовские слесари. Молодые поэты из литературного объединения «Волга», которое когда-то организовал Люкин, читали свои стихи. Руководитель писательской организации назвал готовящиеся к изданию новые книги поэта, сообщил, что горьковские писатели ходатайствуют о переименовании улицы Березовской, где жил поэт, в улицу его имени. В местном музее готовятся к открытию мемориального уголка, посвященного трудовой жизни сормовского поэта. Люкина читают на праздничных концертах и комсомольских собраниях, в дни посвящения выпускников в рабочий класс.

Живет поэт, не гаснет свет в его окне.

Людмила КАЛИНИНА

Предлагаем вашему вниманию неопубликованные стихи А. И. Люкина, его афоризмы.

На снимке:

Дом, где прошло детство поэта, в селе Шковерка.

Александр ЛЮКИН

СИЛЬНЫЕ

Сильные не стонут,
Сильные не плачут,
Сильные что думают —
Дум своих не прячут.
Ложь и малодушие
Сильным не годится,
Оттого поэты
Умирали в тридцать.

Умирали в двадцать,
Не могли иначе.
Умирали, братцы,—
Это что-то значит.
Где-то не соврали,
Грох!
И нет в помине.
Вот как умирали,
Что живут

и ныне.

* * *

Вот и еще один день
Прошел. Земля уже стынет.
Молчанье, затишье, лень
В холодной хрустальной сини.
Расстрелян купол небес
Войной, прогремевшей грозно.
И смотрят на тихий лес
В пулевые отверстия звезды.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Как будто бы
Теплого лучика нить
Легла на сердце
Проталинкою.
Висит объявление:
«Не надо сорить,
У нас уборщица
Старенькая».

НАСЛЕДСТВО

От смерти — не отвертеться,
Но думает жить живой.
Отец мне оставил в наследство
Упрямый характер свой.
И радуюсь я немало,
Что щедро отец наградил,
С характером этим, бывало,
Из бед любых выходил.
Ходил с ним пахать и сеять,
До неба метал стога,
А было — и гнал в три шеи
С российских полей врага.
Подарок богат, и, кстати,
Лишь только сильнее захотеть,
Характера этого хватит
Еще до Луны долететь.

* * *

Я очень знаю, что такое голод.
По трое суток не ложился спать.

И воевал я, и тутушквал молот,
Терял, что только можно потерять.

Ну так каких же благ мне надо
лучших?
Чего мне испытать не довелось?
Теперь счастливых и благополучных
И без меня, как дряни, развелось.

* * *

Весь мир объехал,
Видел все на свете,
Но стих сложил
Из тех же самых слов,
Из тех же мыслей,
Что в плохой газете
Печатают
С расчетом на ослов.

* * *

Многое, многое
Видело зеркало,
Все отражало
И не коверкало.

Но ничего
В глубине не оставило
И никого, никого
Не прославило.

Ну, для чего же
Дана ему сила?
Хоть бы кого-нибудь
Перекосило.

* * *

Коротка до дому
Дальняя дорога,
Если ждут и встретят
Дома у порога.
И легка бывает
Тяжкая работа,

* * *

В заводе
Среди станков
Читаю свои стихи я.
Здравствуй, моя стихия
Искорок,
 масел,
 дымков!
Как же здесь юностью пахнет!
Чистой,
 далекой,
 родной.
Боюсь, что душа зачахнет
За долгий мой выходной.
Забуду, как пот сочился,
Как надо тиски зажимать
И как я горбом учился
Жизнь понимать.

«ИСКОРКИ»

Мысль без юмора мне кажется недостаточно серьезной.
Хитрый, расчетливый враг всегда среди поклонников.
Начальник полчаса материл меня за бескультурье.
Плохому писателю дали орден за то, что он учит мастерству молодежи.
Писателя Н. издательство уважает за то, что он не пишет, а обком за то, что он не пьет.

Не привыкай мыслить по-книжному, учись ходить сам.

Когда-нибудь люди исследуют, как я сгорел. Мне не стыдно ни за одну свою искорку.

«— Как вы создавали свои искорки?

— Сжигал свое сердце».

Его объектив субъективно выбирает, что фотографировать.

Взлет способностей незнакомого человека переносится нами безболезненно, но взлет способностей друга превращает нас в его врагов.

Умнее себя не будешь.

У него книжных знаний — как у кочана листьев, а вместо собственного мнения — кочерыжка.

Когда не хочется писать — думай.

Он не спорит, а старается тебе возразить.

Искорки хоть живут и недолго, но очень красиво, а есть такие, которые взлетают высоко-высоко и становятся звездами.

Вторая встреча

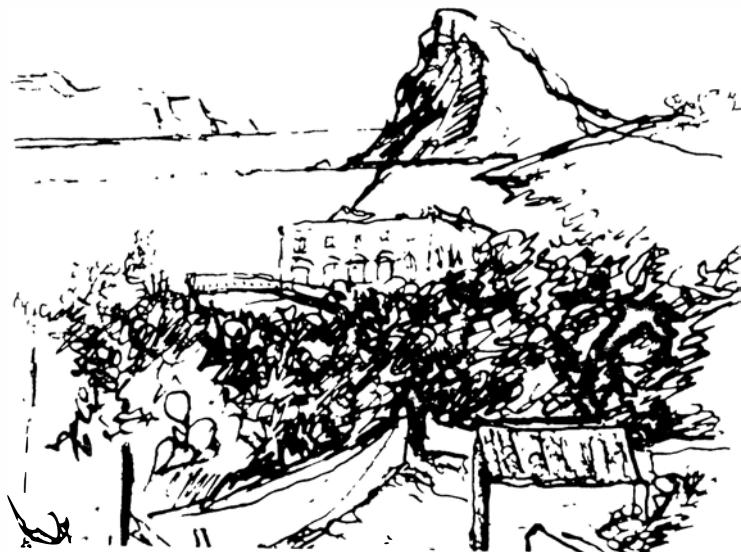


Рис. Р. ГУТТУЗО

ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ

ПОЭЗИЯ — ЭТО ЧЕЛОВЕК

Само название рубрики «Вторая встреча» как бы исподволь подталкивает к такому развороту разговора, когда сравниваешь сегодняшние стихи поэта и те, что являют его вчерашний день, и пытаешься определить, что изменилось в человеке и поэте, в его отношении к миру и людям и в его стихотворной технике, в его понимании жизни и задач, которые меняющееся время ставит перед поэзией и ее творцами.

Но так ли быстро меняется поэт? И есть ли в этом процессе неминуемая обязательность? Если второй вопрос, пожалуй, предполагает все же положительный ответ: еще Блок говорил об обязательности пути для поэта, да и кого ни вспомнить из значительных поэтов прошлого и настоящего, сразу же представляешь их путь, их развитие, у кого — медленное, эволюционное, у кого — резкое, скачкообразное, полное неожиданных сломов и поворотов, — то первый вопрос однозначного ответа не имеет. Здесь все относительно и индивидуально.

Да и, собственно говоря, о каком развитии могу я рассуждать, если передо мной, с одной стороны, первая книга стихов Геннадия Калашникова «Ладонь», вышедшая в «Советском писателе» в 1984 году, а с другой стороны, менее десятка его новых стихотворений? Дат не обозначено ни под теми, что вошли в книгу, ни под теми, что пока находятся в машинописи, так что полной уверенности в том, что новые стихи действительно новые, а не извлеченные из заглавника, у меня нет. Но даже если и новые, велика ли временная разница?

Впрочем... Может быть, зацепиться вот за что: среди новых стихотворений есть одно, так сказать, на «большиную» тему, то есть отталкивающееся от несвоего больничного опыта — «Стал привычен больничный незатейливый быт...». Что-то на эту тему было и в книге. Листаю. Нахожу. Вот оно — «Воспоминание о Сорокине» (одно из лучших, кстати сказать, стихотворений в сборнике). Но одно из них — о соседе по корпусу, о кратком спутнике жизни, об уроке тихого и благородного мужества, невзначай полученном автором от Павла Андреевича Сорокина, второе — ночное или предрассветное, неспешно текущее наблюдение — раздумье обитателя больничной палаты. Первое написано белым стихом, очень естественно и плавно текущим, лишь в концовке переходящим в заточенное рифмованное двустушие (пожалуй, можно сказать о едва заметном влиянии Б. Слуцкого), второе — привычными глазу «квадратиками». Ни содержательная сущность обоих стихотворений, ни явленная в них стихотворная техника (почти всегда у Г. Калашникова достаточно высокая) не дают основания поставить какое-либо из них выше другого. Разве что во втором, новом есть некоторая незавершенность, словно автор остановился перед чем-то пока невыразимым, не желающим оформляться в определенном и точном слове. Но я забегая вперед...

Вообще, требование постоянного самодвижения, так сказать, перманентного прогресса, предъявляемое ко всем пишущим (в данном случае к поэтам) без разбору, полагаю, редко приносит пользу и куда чаще способно повредить. Особенно организму молодому, некрепкому, не разобравшемуся в самом себе, не знающему своих слабых и сильных сторон. Оно чревато либо срывом голоса от излишней и поспешной его форсировки, этакими «петухами», либо неумеренными и зачатую содержательно пустыми упражнениями технического порядка (метафорические рыбки, аллитерационные жимы, ритмические спруты и т. п.), неким поэтическим атлетизмом. Одно не хуже и не лучше другого, оба случая одинаково вредны, ибо ведут к выхолащиванию подлинной поэзии из поэтического (по внешней видимости) текста.

Поэт сам должен почувствовать и необходимость новой, не обжитой им прежде тематики, и новых, соответствующих ей средств выражения, сам должен двинуться им навстречу, пробивая к себе же самому, к тому новому, что нарастает и копится в его душе. И если к чему-то нужно призывать поэта, как молодого, так и немолодого, так это к тому, чтобы не останавливался рост его человеческой личности, к тому, чтобы он непрестанно растил и питал свою собственную душу, подбрасывая в эту топку новые знания, новые раздумья, новые сомнения — и опять, и опять... Выполняя великий завет, прозвучавший уже в нашем веке в стихотворении-завещании Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться...»:

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечи
Училась заново она.

В тонкой книге Валерия Токарева «Послевоенные яблоки» («Московский рабочий», 1979) обращала на себя внимание чистота и естественность поэтического голоса, когда он обращался к воспоминаниям о своем послевоенном детстве, о людях, окружавших тогдашнего мальчика, и своим поведением, своей трудовой, нехвастливой жизнью увчавших его поведению и достоинству. Не случайно едва ли не лучшим стихотворением книги было как бы само спевшееся «Это память течет, как ручей, а в ручье — облака...» с такими, например, строками:

Это память течет. Это мама полощет белье.
Это льдины идут. Это я там кричу: «Помогите!»

Это жизнь утекает моя. Это детство мое.
Вы поймите меня в том ручье и в постель положите.

Запомнились и такие стихотворения, как «Культявые плотники строят бревенчатый дом...», «Воспоминание о Засечном», «Бабушка».

Хороши были в книге и иные обращения к природе, также полные негромкого чистого и искреннего чувства любви и благодарности родной земле, родным лесам и водам. В этих произведениях В. Токарева слово точно соответствовало настроению и чувству, владеющему автором, легко и весомо ложилось в строку. И хотя редко или почти никогда не бывало многозначным, не сверкало несколькими гранями своего смысла и звучания, но всегда оно было уместно, ладно, прилегая к своим соседям по строке и фразе.

Но как только автор пытался уйти в сферу «чистой мысли», не вытекающей из конкретных наблюдений, пытался выписать в стихе некое обобщение, некий вывод, существующий сам по себе, ему это плохо удавалось. Даже слово будто начинало бунтовать под пером и принимать какие-то искривленные облики: «Не бойтесь разочарованных, бойтесь неочарованных. Кто разочаровался. Все же к чему-то рвался». У выражения «рваться к чему-то» есть и негативный оттенок — он-то и выпирает в этом случае. Мысль вряд ли правильна, да и, как потом выясняется, неточно выражена: при дальнейшем чтении оказывается, что речь на самом деле идет о поражении, а не о разочаровании (согласимся — это довольно разные вещи). И уже никакого значения не имеет то, что рифмы в этом стихотворении, мягко говоря, и несвежие, и грубоватые.

Так что же, нужно было отказать В. Токареву в праве на поиск, на попытки в этом плане, отвести ему тематическую резервацию и дальше не «пускать»? Нет, конечно. Но и труден этот поиск был для него, труден и сейчас. Я перелистываю его новые стихи... Есть интересные, есть неудачные. Причем первые в основном — опять о детстве, о природе, о близких людях: «Галки летят», «Синица», «Поля за околицей...», «По грибным и ягодным местам», «Могоча», «Реликтовая сосна»... И неудачи носят все тот же характер: когда автор втискивает в стих готовое, голое рассуждение или когда вывод, делаемый автором, не соответствует предварительно нарисованной жизненной картине, а то и противоречит ей. Или мелочность, стенгазетность, дурная басенность заключающего стихотворение резюме.

Очень показательно в этом смысле стихотворение «Встреча с турбовозом», в первых трех строфах которого, если говорить огрубленно, выражена досада современного человека на то, что и в лесном, речном затишье нет былой тишины, что механический голос XX века пришел и сюда: «Тишины, — вздохнул я — захотел. Ты ее и здесь найдешь едва ли...» Но дальше автору захотелось волевым методом совместить эту досаду или даже снять ее рациональным пониманием нужд современности:

И услышал я, как трубный глас,
Будний голос твой, моя эпоха:
«Не сегодня завтра будет газ
В захолустье.
Разве это плохо?»

Не только плоско, не только фальшиво, но ведь еще и смешно, пожалуй. Нужно сказать, что, когда В. Токарев встает в позу (водится за ним этот грех), чувство юмора ему изменяет.

И все же вот стихотворение «У дебаркадера»:

О, только бы не проходило мимо
Очарование, что необъяснимо,
Полузнакомой женщины в платке:
Задумавшись, она шагнула в воду
И машет вслед речному теплоходу,
Когда весь мир висит на волоске.

О, только бы не проходили мимо
Песнь жаворонка, сладкий запах дыма
И теплый цвет малины в кузовке...

Да чтобы в этом веке океанном
Любил ракетчик там, за океаном,
Жизнь, что сейчас висит на волоске!

Так, может быть, стоило искать, пробовать, ошибаться, терпеть неудачи, чтобы в конце концов однажды прийти к такому естественному сочетанию чувства и мысли, совпадению жизненного наблюдения и вызванного им раздумья. И к такому экономному, краткому, точному и, следовательно, поэтическому их воплощению.

«Пейзаж с раздумьем», «интерьер с раздумьем» (трудно иначе, более традиционно и академично определить этот жанр), судя по первой книге Евгения Артюхова «Жавороночий ключ» («Современник», 1982), как раз изначально сильная сторона его творчества. Такие стихи, как «Храм», «Осень», «Портрет», «И муравей — мой современник...», элегия «Как рано лето обессилело...» могут сделать лицо любой книге, а я назвал не все лучшие стихи автора, вошедшие в эту, теперь уже давнюю книгу.

Как рано лето обессилело,
И, от всего отрешена,
Стоит нахмуренная, синяя
Над головою вышина.
А солнце — яблоко моченое —
Висит на ветке дождевой...
И нынче грусть не отвлеченное
Понятие для нас с тобой.

.

Не холст узорчатый, немеренный,
С печатью птичьего ума
К твоим ногам упал намеренно,
А высь придвинулась сама,—
Объяв тревогой предстоящего,
Рождая искренне в ответ
То чувство — горькое, щемящее,
Которому названья нет.

Читая книгу Е. Артюхова, я поневоле вспомнил свою старую мысль, что поэзия, может быть, лучше всяких словарей собирает и хранит наш язык в его живой сути, так часто встречаешь у него почти не употребляемое, забытое, но такое родное и прекрасное слово: роща у него то «жухлая», то «лядащая», пичуги «снут», встретишь тут и «нахлест», и «закрай», и «на испод»... Дело не только в редкости этих слов, но и в том, как они радостно воскресают и ладно смыкаются с другими словами, более обычными, под пером поэта, вливаются в метафоры («грохочущая зыбка» — скажет он о поезде), создают яркие картины («вода, перепятнанная светом»).

Картину Е. Артюхов умеет нарисовать быстрой и верной рукой. Вот одно из его новых стихотворений:

Вниз летели молнии отвесно
И, достигнув нищенской земли,
Кипятили лужи повсеместно,
А потом дорогу подожгли.

И дымилась старая дорога.
И курились рядом ковчиги.
И глядели пристально на бога
Глаз людских горящие угли.

И жаль, что он бывает небрежен, тороплив, иногда самонадеян, позволяя себе оставлять рядом с сильной строкой строку ленивую, со случайными, неточными словами. В новом стихотворении «Что же ты расплакалось, дитя?..» читаем: «Сызмала оплакивая мир, Что же оставляем напоследок: Слова утомленного комок (как хороши эти три слова! — Ю. Б.), Жаркую и душную бесслезность, Бро-

шенный родительский порог, Стертый о горячность, несерьезность...» (и какое далее идет снижение, сползающее в последнюю банальную, пустую и, пожалуй что, неверную строку.— Ю. Б.).

Кому дано — с того спросится. Этой старой истины не след забывать талантливому человеку, автору таких стихотворений, как «Коптит фитиль в стекляшке по-черневшей...», «Посреди лесного захолустья...», «Я в ладони теплые заруюсь...», нужно быть строже и внимательнее к самому себе.

И, продолжая этот разговор о требовательности, сразу же перейду к Геннадию Калашникову, чье имя уже возникло в начале этих заметок. Нет-нет, этот талантливый поэт, за публикациями которого я давно слежу, почти не позволяет себе небрежности, даже малозначительная зарисовка у него так тщательно отделана, что как-то не успеваешь подумать о том, что перед тобой — рифмованный пустьчок.

Меж тихо дышащих растений,
с глухих небес сойдя к земле,
дождь мягко встанет на колени,
зашарит пальцами в траве.

Хмельная песня дождевая,
то вздох прерывистый, то всплеск,

и сонный пригород вливает
в серебряный высокий лес.

Сливаясь с ним, его встречая
тяжелой трепетной листвою,
деревья празднуют печально
свой тихий праздник, проливной...

Это красиво, даже изящно. Однако стихотворцев, умеющих делать подобное, в нашей поэзии становится все больше и больше. И если бы книга Г. Калашникова была наполнена только пейзажами в стиле Мане, или Хокусаи, или Шишкина, то говорить было бы не о чем, разве что о наблюдательности поэта и изощренности письма, разрядив эти похвалы указанием на не изжитую пока что подражательность (уже назывался Б. Слуцкий; имя Б. Ахмадулиной приходит на память при чтении стихотворения «День ноября, заставь открыть тетрадь...»).

Но в том-то и дело, что Г. Калашников может и другое, и иначе. Вдруг посреди легких акварелей («пишу пейзаж, но выйдет натюрморт»), тончайших, в том числе и психологических, наблюдений («Ветер на дороге шуршит газетой, и этот такой домашний, очеловеченный звук заставляет озябнуть легко одетых»), навевающих милую грусть воспоминаний («Бабушка и мать покоятся в земле. Все хуже их видеть в сгущающейся мгле»), — а я цитирую стихи хорошие, добротные, — видишь такое стихотворение, как «Спротивление материала», полное резкой и четкой мысли о жизни, о человеке, о их суровом противоборстве. И тогда начинаешь еще внимательнее приглядываться к молодому автору. И вот что понимаешь.

Если В. Токарев в меру своих сил старается прорваться к новому для себя освоению действительности в стихе, то Г. Калашников все время как бы приостанавливает себя, удерживает на прежних, завоеванных и обжитых позициях. Помните, я говорил о незавершенности одного нового стихотворения Г. Калашникова. Так вот, последняя строфа в нем звучит так: «Осторожный и ранний луч — подобье копья — вдруг осветит все грани и узлы бытия». Но какие грани, какие узлы, мы так и не узнаем, тут-то автор и замолчит, не решившись (а может быть, еще не умея? Вряд ли, если вспомнить о том же «Спротивлении материала») продолжить...

У актеров есть профессиональный термин — «зажатость». Так вот Г. Калашников еще зажат. Говоря, он еще и постоянно следит за тем, как и что он говорит, и нечисто решается на сильное и необычное слово. Когда он пишет в одном месте: «Слишком много слов во мне ждет хитросплетенья», хочется досадливо ответить ему его же строчкой из другого стихотворения: «Опять о деревьях, опять...» Не хитросплетений уже ждешь от него — прямого разговора. Вот почему «Ладонь» его при всей высокой степени поэтического ремесла, за исключением некоторых страниц, сжата, а не раскрыта.

У всех трех поэтов, о которых шла речь, есть большие резервы. Но — повторно еще раз — это не тематические резервы (хотя хотелось бы больше внимания к живущим рядом современникам) и не резервы мастерства. Это резервы личности, ее роста и воплощения в поэтическом слове.

ГЕННАДИЙ КАЛАШНИКОВ

Родился в 1947 году в селе Ровно Тульской области. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. Работал в геологических и археологических экспедициях, лаборантом в НИИ. Стихи публиковались в журналах «Смена», «Юность», «Сельская молодежь», в «Литературной газете», в «Литературной России», в альманахе «Поэзия».

* * *

Непрочно, словно иней,
бесплотно, словно свет...
Как придумать имя,
чему названья нет?

О том — ночные тени,
о том — листва, трава,
о том — кричит младенец,
вздыхнув едва.

Вот-вот и затвердеет,
означится, блеснет,
неясно что-то рдеет
и сердце рвет.

И напрягает воздух,
Нащупывает ритм.
Еще чуть-чуть и возле
само заговорит.

* * *

Орехового жар куста,
кистей рябины злая алость...
Мне в этой осени осталось
смотреть, как падает листва.

Сентябрь, хлопочущий в бору,
сентябрь, о, что бы ни случилось,
не позабудь меня, даруй
такую милость...

Возьми меня к себе в залог,
ужель грустить не приневолишь?
Я только выдох, только вдох,
листок на дереве всего лишь...

В ДОРОГЕ

Под дождем идем,
согнувшись,
струи хлещут, как ремни,
и попутчик,
матюгнувшись,
проворчит, что были дни...

Я доволен и таким
днем, тревожным и промозглым,
где леса вдали, как дым,
архаичный, паровозный...

* * *

Зима, ты — музыка с утра,
нажать на снега белый клавиш,
и ты, печальна и светла,
на белизну всю жизнь исправишь,
и выйдет жизнь из берегов,
и станет пристальней и выше,
и утром снова я услышу
немую музыку снегов.

* * *

Как бы жизнь меня ни ломала,
ни топила меня в беде,
я прошу у себя малого:
не солгать самому себе.
Как ни жестка спокойная хватка,
как бы ни был мой век груб,
не хочу играть в прятки —
смертельную игру.

* * *

Попробуй Расскажи
о том, как нынче жив,
и в слово подмешай живой немного крови,
о том, как час назад
вдруг хлынул листопад...
Смотри, уже октябрь — насупленные брови.
Приметы октября,
как будто якоря,
ржавеют среди листвы, и небо на приколе.
Крылами машет клен
и, чем-то удручен,
листву свою швыряет в чисто поле.
А там за окружной
веселой рыжиной
леса горят и светятся лимонно.
Чертановский бетон
открыт со всех сторон
ветрам извилистым и влаге воспаленной.
И здесь моя родня —
речушка Городня,
что теплится едва в овраге под горою, —
железо, хлам, мазут,
но в ней нашли приют
и утка серая, и селезень с зеленой головою.
Пойдем скорей, мой сын,
их хлебом угостим,
мы побредем с тобой вдоль тихого теченья,
по склону вод пойдем
и, может быть, пойдем
смысл осени, ее негромкие реченья.
Услышим клена лист
и сильный тонкий свист
косых утиных крыл в стремительном полете.
Пойдем, сынок, с тобой,
пусть шепчет под стопой
трава холодная в неяркой позолоте.

* * *

И помнится всегда о том,
что вечно брезжило
и пело.

И свет и слово от напева
отслаиваются лишь потом.

Но из каких-то дальних снов
не умолкало, не молчало.
И солнце, встав из-за холмов,
на небесах всюду звучало.

Звук — это тот же самый свет,
одна волна, одна порода,

и слово в языке народа
играет словно самоцвет.

Но светится еще до слов,
поет еще из-за предела.
Какую музыку напело!

И вновь поет из-за холмов.

* * *

Стал привычен больничный
незатейливый быт.
И сосед, как обычно,
душной ночью храпит.

Замолкает. И снова
как идет на таран.
А под майкой лиловый
заплывающий шрам.

Сном непрочным, несправедным
спит больничный народ,
а над нами алмазный
неба августа свод.

Полыхает там бледный
и холодный пожар.
И оттуда заметно,
что Земля — это шар.

И ни крики, ни всхлипы
не слышны там совсем...
Здесь больничные липы
цепенеют в росе.

Здесь шаги в коридоре
и нытье комара.
В нескончаемом споре
свет и тень до утра.

Осторожный и ранний
луч — подобье копья —
вдруг осветит все грани
и узлы бытия.

* * *

Вновь свистит моя синица,
руку вытяни — близка,
в небе облако клубится,
воздух пасмурный слоится,
и удушлива тоска,
а январь все длится, длится,
повторяя дни и лица,
утром хриплый визг скребка,
и пусты его глазницы,
от рассвета до денницы
путь-дорога не близка,
но свистит смешная птица,
хорохорится, бодрится
возле самого виска.

ЕВГЕНИЙ АРТЮХОВ

Родился в 1950 году в Подмосковье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В настоящее время — редактор многотиражной газеты. Автор двух книг стихотворений — «Жавороночий ключ» и «Дыхание строя».

* * *

Я в ладони теплые зарююсь.
Фартука клееный холодок,
Словно очищая мою совесть,
Полыхнет внезапно возле щек.

И опять послышится сначала
(Как бывало в давнем далеке)
То, что жизнь тихонько ворковала
Мне на материнском языке.
Но тоска накатится глухая,
И увижу: старенькая мать

Со стены — насупленно и мило —
Внуки голопузые глядят.

Старший сын не едет,
Младший — тоже,
Дочь связали накрепко дела.
Огород свой, милостивый боже,
Нынче ты слезами полила.

Ни коровы, ни овцы, ни птицы.
Черная, как беженка, изба...
Постучался попросить водицы,
Дверь толкнул —
Открылась мне судьба.

* * *

Что же ты расплакалось, дитя?
Что кричишь ты от неразуменья
Посреди дремотного дождя
И глухого шарканья и пенья?

Мрак осенний тягостно немил?
Дым осенний горьковато-едок?
Сызмала оплакивая мир,
Что же оставляем напоследок:

Слова утомленного комок,
Жаркую и душную бесслезность,
Брошенный родительский порог,
Стертый о горячность, несерьезность...

И когда раздумаешься:
Впередь —
Только не избыть своих признаний,
И не дорастаи,
Не дочерствуй,
И не доумнеть до оправданий.

...Плачешь, а баюкает тебя
Голос молодой и терпеливый
Посреди дремотного дождя
Песнею далекой и счастливой.

* * *

Эти васильки, ромашки эти,
Мягкие головки наклона,

Словно провинившиеся дети,
Тянут к себе за руки меня.

Кабы я умел, схватил в охапку
И унес с собою за покос,
Чтоб дышалось радостно и сладко,
Где бы мне бывать ни довелось.

Пусть шумят душистою волною
И дивят живучею красой,
Прослезясь однажды надо мною
Самую сердечною росой.

* * *

Прогоркшею, полегшею ботвой,
Водую застоявшуюся в балке
В лицо мне дышит ветер полевой,
Не узнает,
Ерошит перья галке.
И мы палим, заглядывая врозь
В глубины угасающей природы.
Как много из того не улеглось,
Что было накорезано за годы.

И хоть стремленья новые слышны,
Еще видать неспешную дорогу,
Где тополя отцветшей стороны
Шагают по обочинам не в ногу,
Шатучими столбами мошкара
Закатный свод возносит

над поляной,
И кисло-сладким тянет
от костра...

Как много встреч!
И ни одной желанной.
А оттого, что сам я виноват,
Молчу и жду — быть может, ветер
здешний

Спохватится:
«Здорово, что ли, брат?!» —
«Здорово, брат!» —
Откликнусь, посветлевший.

Чтоб как-то нарядить избенку,
Ты, милосердия сестра,
Ту марлю красила зеленой,
Ведь голь на выдумку хитра!

Все годы ты спала сторожко,
Всегда готовая помочь:
Была бессменной «неотложкой»
И день и ночь...

Семилинейная подвеска
Меня будила в поздний час —
Лишь марлевая занавеска
От боли отделяла нас.

ВСТРЕЧА

Я не понял, что она хотела,
Что бродило у нее в крови.
Я сказал ей:
«Жертвовать — не дело.
Ты живи: не жертвуй, а живи...»

Это все она, конечно, знала,
Только вот иначе не могла.
Я молчал, пока она болтала
Про сынишку, юность и дела.

Сам болтал, когда она смолкала,
На холодном северном ветру,
Вспоминая встречи у вокзала,
Институт, весенний парк, Суру.

Надо бы обнять ее за плечи,
Заглянуть в усталые глаза,
Чтоб узнать, от ветра
или от встречи
Задрожала в уголке слеза.

Нежно, по-мальчишьи неумело
Отогнать озноб от этих плеч.
Сколько лет над нами пролетело
С тех далеких полудетских встреч!..

Мы идем осеннею дорогой.
Ты смахнешь свою слезу тайком,
Навсегда оставшись недотрогой,
Ну а я все тем же дураком.

* * *

Напои нас, быстрая вода,
Мы уйдем, а ты живешь всегда.

Научи, земля, своих гостей
Жить в года безумных скоростей.

А под старость подари покой
В русской деревеньке над рекой,

Где на зорьке тишину дворов
Оглашает теплый рев коров,

Где возней ребячьей счастлив дом,
Где близка земля, куда уйдем.

Наши публикации

«ТЕМНА И ГЛУБОКА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СКАЗКА»

Это один из главных внутренних сюжетов Алексея Прасолова. В 60-е годы он развивался одновременно в его жизни, поэзии и в письмах. В письмах, быть может, особенно ощутимо, так как получал особое осмысление.

В публикуемых нами новых * фрагментах из писем поэта к автору этих строк («День поэзии», 1986, представил некоторые из них) читатель сможет сам воочию убедиться, как рождалась Сказка Алексея Прасолова.

Она рождалась из жизненной, ничем не одобренной прозы, поэтому с самого начала резко отмежеввалась от «красивостей», от «романтической безделушки», от «фантазии в общепринятом смысле», от «яркой летучести» жизни, от «игривости воображения».

Она рождалась из ощущения серьезности дела, которое надо было сделать в кратчайшие жесткие сроки — а письма охватывают именно эти годы становления поэта — 1962—1966-й, когда он, на 33-м году жизни, по собственному признанию, «стал писать по-новому, то есть старому, как писали до меня... стал писать о том, что думаю и чувствую...». Выработать собственное отношение к классической и современной поэзии. Становиться в деле и осмыслять содеянное...

В Сказке Прасолова оказываются сведенными воедино не только пространства и люди, но и далеко отстоящие друг от друга пласты культуры — «Демон» и «Лебедь» М. Врубеля, «Кашеева цепь» М. Пришвина, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, этот, по его словам, «прекрасный, редкий и, наверное, неповторимый сон Двадцатого Века», Шандор Петефи и Габриела Мистраль — «открытие большое и радостное».

В ее создании, как и в создании биографии поэта, на равных участвуют живой цветок и цветок, отраженный искусством.

Было бы глубоким заблуждением думать, что, находясь в тяжелых условиях одиночества, «ночи», Прасолов брал любой жизненный и книжный материал, что попадался ему под руку. Нет, его Сказка строго избирательна. В ней все единственно и неповторимо: от названия — Репьевка, местности, где он недолгое время жил и работал («Здесь рядом речка Потудань **», глубокая. Течет чуть ниже редакции, возле нас — вербы, у берега бродит рыба. Райцентр тихий, с огромным закрытым храмом, зеленью и пылью. Окрина области. До Воронежа — около 100 км»), до адреса на конверте письма...

Потому она, эта Сказка, так не похожа на другие... Но не только поэтому.

Есть у Андрея Платонова сказка-быль «Неизвестный цветок». Девочка Даша спрашивает маленький, невзрачный цветок, выросший около камня на голом камне:

— Отчего ты такой?

* См. наши публикации: «Алексей Прасолов — в письмах». — «Лит. учеба», 1978, № 1; «Собеседник», вып. 3. М., «Современник», 1982; в книге: Прасолов Алексей. Стихотворения. М., «Советская Россия», 1983.

** Здесь жили герои рассказа Андрея Платонова «Река Потудань».

— Не знаю,— ответил цветок.

— А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

— Оттого, что мне трудно,— ответил цветок.

— А как тебя зовут? — спросила Даша.

— Меня никто не зовет,— сказал маленький цветок,— я один живу.

Даша осмотрелась в пустыре.

— Тут камень, тут глина! — сказала она.— Как же ты один живешь? Как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой?

— Не знаю,— ответил цветок.

Так говорит всем строем поэзии документа и Алексей Прасолов. Творческий результат, показанный им, потому так отличается своей непохожестью, своеобразием, неповторимостью (и вряд ли права в этом смысле современная критика, и в частности Л. Аннинский, озабоченные в первую очередь поисками сходства его с другими поэтами, от которых он сознательно отталкивался, а не различия, «особости»), что в его «состав» входит редкий сплав только ему одному присущих трудностей.

В разгуле шума новизны, захватившей в начале 60-х годов многих способных поэтов, Алексей Прасолов с редким достоинством и мужеством переживал выпавшие на его долю беды, справедливо полагаясь на то, что «последним средством жизни и страдания остается сам человек» (Андрей Платонов).

Он был и остался платоновским «сокровенным человеком», нежно и терпеливо созидающим («а где расти нам, не поспоришь: кому — зола, кому — песок») свою человеческую сказку, которая — читаем в одноименном стихотворении — «темна и глубока». Всмотритесь в нее...

Инна Ростовцева

Алексей Прасолов

* * *

«Не люблю я ни в стихах, ни в жизненной, ничем не одобренной прозе красотей, пусть даже притянутых по наивности и по отсутствию чувства меры и вкуса для выражения «полноты чувства».

8/5—1962

* * *

«Как мы не умеем вовремя соразмерить отпущенный нам срок из «нищенской сумы» с тем, что замышляем и должны сделать!»

8/5—1962

* * *

«Люблю я строгую чистоту и окрыленность (без ложной восторженности), а это мне сейчас так нужно! Еще из юношески чистых Шандор Петефи мне — свой в этом отношении: и героическое, и колючее, и мудрое, и детско-невинное — люблю такие души!»

8/5—1962

* * *

«Вскрывал твоё прошитое нитками письмо, и как-то больно было их разрывать, словно совершал маленькое кощунство. Так было, когда, уехав из дому, разворачивал сложенное матерью чистое полотенце или платок...»

5/10—1962

* * *

«Мы еще много добра сделаем, Инна. Это — чувствую, сколько бы проклятых, воздушных и наземных катастроф ни обрывало наших планов и замыслов».

5/10—1962

* * *

«Из стихов не посылаю ничего. Эта неделя дала два новых, а прежние — в отлежке. Не успел отделать эти два, лезут без очереди другие. По вечерам ищу приюту в конторке, к помехам привык. Вся жизнь — контрасты: поэзия и человеческая грязь. Рядом с грязью острей чувствуешь чистоту».

21/10—1962

* * *

«Знаю: как во многих, прошедших свой путь среди жестоких, тупых, добрых, но недалеких, милых, но забытых, слабых и сильных людей, среди разнообразных до контраста условиях, — во мне отражалась и откладывалась, как годовые кольца, вся эта сложность, противоречивость жизни. И некому, кроме книг, было учить меня разбираться во всем этом.

У тебя было проще: тебя окружали более развитые, более чуткие люди, и ты была ближе пусть даже просто к той же книге, к которой я тянулся вслепую под руганью даже матери (простим ее совершенную безграмотность).

Всю жизнь — самоучка во всем. Все, что я делал, было пробой жизни, а пробовать наугад, в одиночку, без совета — сама знаешь, что это. И сложилось во мне одно постоянное: тяга к лучшему, чем то, что до сих пор я знал.

И сколько же в этой тяге ошибок, головоломного падения, подъема, удач и бед.

Бед было больше, и я к ним стал привыкать порою как к неизбежному. И стали опускаться руки, иногда начал появляться вопрос: а стоит ли все это чего-нибудь? Ведь все равно был один в своем мире и остаюсь один. Эх, ладно! Неси, жизнь, куда угодно. Чем дорожить. И стало все равно: талантлив я или бездарен, пьян или трезв, хорошего обо мне мнения люди или дурного...

Я насмехался над жизнью, зная, что чем начинается и чем кончается, как над бездарной книжонкой, — над жизнью вообще и над своей».

3/1—1963

* * *

«Сегодня, вот только что, прочитал, нет, встретился и простился с Маленьким Принцем... Я увидел прекрасный, редкий и, наверное, неповторимый сон Двадцатого Века. Есть же люди, умеющие и в жестокое время (и, может быть, именно поэтому) видеть и передавать такие сны — мудрые, нечеловечески тонко сплетенные из чего-то зримого, но неосязаемого, изящного и непостижимого. Сент-Экзюпери написал о Маленьком Принце незадолго до своего конца... наверное, людские души (отдельные, редкие) всегда издают свой последний лебедино-чистый, прощальный крик... Я понял, почему так дорога тебе эта сказка. Мы сохраним ее до времени — нашего и когда-нибудь, уйдя от всего ненужного, тихо и медленно, прочтем ее... До чего же едко и тонко смеется Сент-Экзюпери! Один король чего стоит! А деловой человек, владеющий звездами! А остальные — вплоть до закружившегося фонарщика! Благодарю тебя за Маленького Принца — без тебя мы с ним вряд ли были бы знакомы. Я сберегу его как залог всего нашего с тобой общего. После Маленького Принца люди кажутся в ином свете, книги, где одна громоздкая реальность, — чересчур земными и темными. Удивитель-

ная сила — искусство: оно делает со своими подданными что хочет. Будь оно на троне короля, самые скотоподобные генералы у него становились бы и мотыльками и чайками, не спрашивая, разумно сие или глупо».

7/1—1963

* * *

Я вспомню сказку Сент-Экзюпери,
как мудрый сон, что не любому снится.
Среди пустыни в час глухой зари
услышу голос Маленького Принца.
Искал он розу в знойной полумгле
на дальней, им покинутой планете.
И за пять тысяч роз не отдал на Земле
одну неповторимую на свете.
Ее могли в разлуке защищать —
кому страшны, кому страшны четыре
наивных в детской дерзости шипа
от всех недобрых в ненадежном мире!

29/1—1963

* * *

«Стихи Василия Кулемина я проглотил... когда пришел 3-й номер «Огонька». Перечитал после — впечатление не изменилось. Ты права в оценке. Я еще раз убедился в правоте своего давнего вывода: все поэтические находки: изощренность, цветистость (пусть даже удачная) — все к черту слетает, как осенние красоты, когда душа стоит на грани жизни и смерти, когда человек не говорит, а кричит. Я думаю: как бы заговорили N. N. *, когда бы душу им овевало невыносимое горе, сурово потребовавшее слова, крика. Все эти нагромождения образов, косноязычия, стилижно-железное смешение фраз полетели бы к черту, стилизно-расслабленные рифмочки, пляшущие размерчики показались бы неискупимым кощунством перед гневно дышащей подлинной поэзией. Ладно, время неразменно-мудро. Расценит. Прости, но я взял в этих поэтах все наигранное, идущее от оригинальничанья, которое заслоняет их истинную величину, силу и бессилие. Ведь их самих за внешними формами пока не видно. Обидно будет, если стихия таких, как Вознесенский,— шум, сенсация в поэзии. Почему не тратят столько таланта для емкой мысли, для выражения подлинного чувства? Думаю, потому, что форма идет от искусственности, ее можно придумать, а мысль и чувство, недоступные другим, не придумаешь, когда их в подлиннике нет. Когда они есть, форма крепка ими, но крепкую форму никак не увековечишь безмыслием».

29/1—1963

* * *

«Спасибо жизни: даже будучи отрезанным от нее, я получаю от нее все то же драматически-обостренное в чувстве, которое во мне со времени, как я вышел в жизнь».

1963 г.

* Названы имена известных современных поэтов.

«Сегодня во сне я так далеко и легко летел. Неужели я еще расту? Летел над полями, видел сизую полынь, пашню, кусты. И потом на дороге коснулся ногой теплой от солнца пыли... Давно я не летал во сне. А ты?»

«Когда мне хочется почувствовать самое глубинное, чистое, сильное — я беру Лобанова * и нужное вызываю в себе. Если подобное будет тобой разыскано еще, поделимся, ладно?»

«Я ревниво просматриваю «Лит. газету», пробегаю статьи. 99% — дежурные мысли. Черт знает, почему люди с таким сопротивлением принимают что-либо свежее и так равнодушны к посредственности? Неужели же надо доказывать, что нужно первое, а не второе? Это оттого, что там служат не литературе. О Берггольц подробностей не знал. Об участии Корнилова знал с 1954-го. Помню, была межобластная конференция литераторов в Воронеже. Были московские В. Журавлев, Ленинград — Сергей Орлов с какой-то дамой и еще кто-то. Обсуждали, в частности, стихи Гордейчева, вошедшие через 3 года в «Никитины камни». Потом шли по проспекту. Егор Полянский читал Корнилова:

И качаются наши песни
От Баку до Махачкалы!!

До Махач — потом мальчишеский подскок — калы! Весь дух «этого молодого, входящего в литературу», падкого на звонкую фразу, — был чужд... И я откололся возле кафе «Мак» — около «Пролетария» **, уехал на левый берег в свою девятиметровую келью и ночью думал, думал, соразмеряя лермонтовскую молодую гневную силу с той, что читала с подскоком на проспекте. И много горького яда копилось в этих раздумьях... Я и теперь не отказываюсь от того, что закладывалось в душе тогда».

20/2—1963

«Ты была у Луговской... Как буднично сказано!.. Не надо так. Ты была в доме, где дух Поэта, его мир, вернее, оставшаяся оболочка его мира. Я далеко не наивен в романтике, но в дом истинного поэта зашел бы с холодком замиранья в сердце. Ты запросто разговаривала с женщиной, которую он, наверное, любил — да хоть бы просто общался с ней... она — обычная, быть может, не лучше других... Но Она была с Ним, была Его женщиной — это уже иное. Ведь я знаю, чем была женщина для Луговского.

У меня в картотеке есть читатель с фамилией — Луговской. Я с ним, с этим парнем, не близок, но когда он называет свою фамилию, что-то разом во мне вздрагивает, будто он в чем-то причастен к моему, близкому...

Впитывай все, все, что возможно — то чистое, глубокое, чем он был полон, что еще до конца нам неизвестно. Вбирай — на двоих. Не теряй самого дорогого — взгляда открывателя, взгляда человека, ждущего сказки и верящего в нее. И здесь — береги лосенка. Для него страшен троллейбус, набитый людьми, способными уже на «удивление и жажду». Только тогда можно что-либо создать. Сумеешь впитать — сумеешь отдать».

31/3—1963 г.

* Речь идет о книге критика М. Лобанова «Сердца врываются в книги».

** Кинотеатр в Воронеже.

* * *

«...Пишу на пределе дыхания, и нет во мне того спокойствия, которое нужно, чтобы ответить на твоё письмо, просветленное егорьевской * грустью, теплом русской задумчивой глубины... не могу это выразить ходячим словом. Это надо чувствовать без слов... Самое дорогое для меня — то, что тебя пронизало именно там, что так понятно мне с давних пор, что даёт душе неповторимые минуты, когда чувствуешь родную землю «в её подробности земной», видишь её открытое, чуть затуманенное лицо...»

17/4—1963

* * *

«Еще раз: не глуши в себе тяги к творчеству, ведь в ней ты скорей окрепнешь, как человек с критической струной. И вообще — творить, пусть сначала аляповатое, несобранное, нестройное — это высокий процесс, и грешно, преступно, сдерживать себя, если тянет.»

31/8—1963

* * *

«Как мне скорей хочется лечь на курс — высокий, строгий, идущий сквозь век, сквозь душу. В стихе о мысли ** и в этом *** — возвращаюсь ли я?.. Мама (ты не сердись, что я её так называю) прислала В. Мартынова****. Пробежал и отложил. Может, и звонко, но мне нужно иное — со сдержанной силой; видно, возрасты душ разное покорны поэзии. Во всех «молодых», да и «взрослых» сборниках почему-то выпирают черты внешней биографии, а мне хочется черт биографии — внутренней, биографии души. Буду это вырывать — из глубины. Со срывами, с муками — но это.

Над стихом «Так много дней» подумаю. Но в нём нет какого-то разворота для сильного слова. А легонькое лирическое, светлое, как просто жизнерадостная улыбка, — не умею делать, хоть убей. Вот гляжу: поэт как-то легко, непринуждённо написал — выхватил светлый кусочек. Стих ясный, как детские глаза. Я таких не умею. Всегда входит параллельно другое — как контраст.

Инна, в стихе о мысли как будет лучше? Быть может, так:

И в неудаче подхлестнет,
Назвавши неженкою — душу?

И еще (если вообще нужна эта строфа в целом):

И постигаем мы её
Космическую беспредельность.

Это слово прямо связывается с образом в последней строфе:

Она согласна лишь признать
Вселенную — своим мерилом.

Как плохо: написать — и ждать, ждать ответа. И не иметь возможности обратиться к тебе, когда нужно в процессе работы... Хочешь или нет, а ты участвуешь в писаниях моих».

8/10—1963

* * *

«Читаю Габриелу Мистраль. Особенность: главное — и мысль, и знакомый мир, пропущенный через сильную душу, чистый, тонкий до хрупкости. Правда,

* В одном из писем я рассказала Ал. Прасолову о своей поездке в город Егорьевск Московской области, где читала лекцию.

** Имеется в виду стихотворение «В ночи заботы не уйдут...», присланное в предыдущем письме.

*** «Нагрянёт горе...»

**** Воронежский поэт.

холодноваты все эти громы, прибои, скалы, но это, наверное, оттого, что мы росли среди русской равнины, без экзотической бутафории и страстей. Хорошо, что главное в Г. М. близко духу нашей русской поэзии, это чувствую во многих стихах».

13/10—1963

* * *

«Все эти дни в голове — пуля, попавшая в Кеннеди. Что-то нечеловеческое в снимках — лицо Освальда под выстрелом, волчий затылок Джека Руби, мону-ментальное спокойствие полицейских, глядящих на убийство — на то и на другое, глухой гроб президента под полосатым, как матрац, флагом... Особенно в час похорон почувствовал Чайковского. Могут быть С о б ы т я (выделено А.П.— И. Р.) негизетного плана и толка. Жду Вознесенского. Читал в «Юности» его стих о Маяковском на мосту Парижа (на мосту худ. нарисовал портреты О. Брик * и В. Маяковского — по их лицам идут машины. Снимок тут же и стихи Вознесенского.) Написано в ключе Маяковского...»

«Открыл» Н. Павлова. Современник Пушкина. Собран впервые. Острый ум, энергичный стих, своеобразная проза. Хороши особенно эпиграммы. На Полевого:

Он первой гильдии подлец,
Второй он гильдии купец (факт)
И третьей гильдии писатель!»

28/11—1963

* * *

«Хорошо, что ты — о Демоне Врубеля. Но слова Рыленкова... их, пожалуй, автор слышал от комментатора в Третьяковке. Не надо Рыленкова к Демону... Весь он — вывернутая мука (Демон сидящий), и не хочется, глядя на него, вспоминать подобные строки, умные, очень (излишне) правильные, как речь профессора... Я терпеть не мог «ценителей от сохи», тем более рядом... с Демоном.

Здесь два тома Рыленкова — итог творческой жизни человека. Есть и сонеты, и легкое лирическое, и программное, и эпическое — и во всем поскрипывает сошка, бредущая неглубоко по вспаханному и перепаханному. Ладно. В его лице я — о многих подобных «литпахарях».

Мистики в глазах Лебеди для меня нет. Есть тянущая душу сила. Какая — не пытался рассуждать.

Лебедь — тоже в нашей Сказке.

Интересно, почему в газете спустя год после смерти Н. Асеева сообщение — урна с прахом установлена?..

Литературався в похоронах и не празднует ни одного хотя бы скромного рождения».

25/12—1963

•

* * *

«Сегодня рисовал. Хоть что-нибудь. Душа стиснута для слова. С утра лежит чистый лист — и вот теперь становится просто письмом к брату. Дико. Но все расколдуется. Второй пакет ** будет расти, пусть не так бурно, но с меньшими неудачами. Хватит быть «молодым». Я уже внутренне не могу «подавать надежды». Время — оправдывать».

25/12—1963

* Прасолов ошибся: портрет Л. Ю. Брик.

** Пакет, в котором Прасолов хранил свои стихи.

* * *

«Ведь для меня Сказка — не та сирень, которой прикрыта «звериное торжествующая похоть».

13/1—1964

* * *

«Надо брать то, что стоит выше сделанного, исходя из готового внутреннего».

13/1—1964

* * *

«О стихах. С «Обреченной ночью» ты поступишь правильно, если отбросишь две последние строфы и поставишь в конец первую: ведь вариант первой, по сути, и замыкал стих, но уже — с претензией на обобщение. Обобщение мне не по душе. Пусть так и будет, как ты советуешь. А сейчас я дам последнее, и по духу, и по теме примыкающее к стихам основным. У меня есть конец, но он такой мне не нравится. В целом же стих, кажется, очерчен и оформлен. Смотри строже прошлогодного.

Я вглядываюсь в рядовые лица.
Я поверяю рядовые дни.
Они согреют — дай им только слиться.
Они померкнут — лишь разъедини.
В крутом смешенье добрых и недобрых,
О сердце, переплавь их и отлей
Из тысяч лиц — один высокий облик,
И время зримое — из неприметных дней *.

Кажется, ничего больше не нужно. Но ты — ты гляди жестко. Я только дописал, и взгляд еще не устоялся, чтобы стать верным».

31/1—1964

* * *

«Спасибо за несколько позднее признание о том письме Жигулина. Каждое утро глаголет своим языком (выделено А. П.— И. Р.). Это останется истинным выражением наших с ним отношений, которые внешне будут на том уровне, на котором я держал их при встрече — официальными. А Пол-в знает несколько старых циклов — и только. Еще не хватало мне этой «любви и памяти».

Я знаю, что большинство из них при моей доброй минуте постарается едко вспомнить другое. Вот на эту память я рассчитываю!

Но ничего. Нужно всей жизнью, каждой строкой перечеркнуть их насмешливую нечистоплотную «память и любовь» и сказать: в трех водах купаны — чище мы чистого. А для этого нужно идти дальше в своем. «Радость первого сборника!» Боже мой, какой соблазн тебе рисуется в этом! Так вот и затрепещет славлюбивая, изнемогшая от бесславия душа.

Я давно это перерос...»

18/2—1964

* Далее идет стихотворение «Сосед мой спит»... Впоследствии печаталось без этого начала; здесь публикуется впервые.

* * *

«Твой замысел — Блок — Маяковский — Луговской — волнует. Мне давно хочется подчеркнуть для тебя одну мысль: высота определяется предметом, о котором говоришь. Наглядный пример — Лобанов. Там, где он пишет о Достоевском, о Леонове, о Заболоцком, — глубина и высота. А начнет о пестрых сборниках — нет ни взлета, ни смелости — чуингвам (резиновая жвачка). Ты уже достаточно овладела опытом, «экспериментируя» воронежцев. Не робей перед большим замыслом. Зарево искусства — широкое и вещее. Входи в него и брось всю мелкоту. Ты видела, как Блок обращался с ней в своих рецензиях? Убийственно и чутко.

Едва блеснет среди мертвечины свежая строфа — он радуется, а остальное сжигает протокольно — кратким словом.

Впрочем, ты все это знаешь лучше меня.

Ты жалуешься на бессилие. А ведь это живой признак зреющих сил. Легко рождается мертворожденное, недоносок. А ты вся — жизнь, сложная, беспокойная, целеустремленная. Сужу уже по одному тому, как она передается мне и что делает внутри. Она рождает во мне себе подобное — со срывами, со взлетами, но рождает. Сама же она может оставить след более серьезный».

28/2—1964

* * *

«Твои книги — кстати. Гойя сейчас у Гонтарева. Остальное тоже будет очень нужно. Ведь в области надмирной мне порой одна опора — скупые и ослепительные научные «сверхзвезды», а не книжки с лирическим, космическим, вселенским пустословием. Хочу, чтобы стихи не украшались броскими сверхзвездами, а тянулись к ним — по их лучам и хоть частица человеческой мудрости западала в душу».

10/3—1964

* * *

«Ты не встречала стих в «Литературной газете» о Сальери? Правда, сильно?»

И в землю бьет молва, как молот,
А он в земле из-под плиты
Лишь правды, а не доброты
У каждого столетия молит».

27/3—1964

* * *

«Б-ву давно написано (по приезду из Воронежа). Твардовскому специально о сборнике писать не хочу. Напишу новое, уверюсь в нем, — отошлю и попутно спрошу. Не забывай, что Твардовский есть Твардовский. А я — только пытающийся назваться Прасоловым» *.

12/2—1965

* В этом письме от 12/2—1965 г. приведено стих. «Я услышал, корявое дерево пело...», состоящее в первоначальном виде из 6 строф, к трем известным строфам, печатающимся ныне, были добавлены следующие:

И огромное дерево кроной безлистой
Встрепенулось и вынесло в низкие тучи
На корявых ветвях буревое единство
И печально и грозно сплетенных созвучий.
Над останками трав помертвело-бессочных
Бушевало в степи многожильное древо,
Как фонтан исполинский, как первоисточник
До конца неизведанных русских напевов.
Поднимал я лицо и стоял задыхаясь.
Жизни свежий глоток исцелял меня снова,
Всколыхнулся в душе ослепительный хаос
И потребовал стройного смысла и слова.

* * *

«Прежде всего — стихи *. Смотри, что в них. Третий — просто какой-то нечаянный, и ты вряд ли, как и я, сможешь смотреть на него серьезно. Другие сейчас в работе. Может, к концу марта доделаю. Лучше А. Т. послать 2 стиха, но чтобы они хоть в чем-то были прежними и новыми одновременно.

...Не подумай, что последний стих — результат покорного следования совету Беляева — «писать о молодежи и для молодежи».

25/3—1965

* * *

«Пишу вкратце. Медея, как я работаю здесь, в Репьевке. Теперь мой адрес:

Воронежская обл. п. Репьевка,
ред. газ. «Ленинское слово»...

Ура! Я здесь нашел, наконец, «Кашееву цепь» (М. Пришвина.— И. Р.). Читаю — вбирая, и порой чувствую озноб... голос совести, наверно. Потом напишу тебе что-то большое».

1/5—1965

* * *

«Ответа от Тв. нет. В прошлом году было хоть поздравление с праздником, в этом — тишина.

Письмо к нему вкратце таково: сборник из «Мол. гв.» получил обратно. Из 64-х «принимают» 21 стих, и тех не узнаю после рецензирования. Я не за книжкускороспелку, выскочку, но принять такие требования мне трудно. Требуют, чтобы писал «о молодежи и для молодежи» — это столбовая дорога, а остальное — обочина. Короче, замысел таков: «И в свет ты выйдешь, как картинка, какой задумал я тебя».

Это почти дословно первая часть письма. Дальше — о Ворон. изд-ве. Здесь тоже: чем серьезней стих, тем трудней отстоять его. Один смекалистый человек по-простецки подсказал мне: а ты, мол, напиши Твардовскому, может, с бумажкой от него дело проще будет! Совет, нечего сказать, лихой! Это — дословно. Прямо просить о бумажке — нельзя. Дальше — где я, почему, в каких условиях. Коротко. Больница, район... Сразу же отсюда — к вопросу о курсах.

Потом — предисловие к стиху «На берегу черно и пусто»: реки у нас гибнут от «прогресса». В конце: посылать вторично стихи страшно: те ли они? Вот все, что написал ему. Отослал еще в Воронеж».

7/5—1965

* * *

«Мне так хорошо оттого, что я есть я, а не искажение самого себя...»

7/5—1965

* * *

«Я иду сужденным мне путем — жестко, трезво, упорно, но, несмотря на это — трудно иду. Легкий шаг — видно, не мой».

14/1—1966

Примечания и публикация
Инны Ростовцевой

* «Я хочу, чтобы ты увидела...», «На берегу черно и пусто...», «Кресты со звездами...».

Мастерская

НИКИТА ЗАБОЛОЦКИЙ

О ЗАМЫСЛЕ Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО ПЕРЕВЕСТИ НЕМЕЦКИЙ ЭПОС

В бумагах Николая Алексеевича Заболоцкого хранятся полтора десятка страничек рукописного текста, представляющего собой множество повторений одного и того же четверостишия в разнообразных вариантах. Иногда повторяется целая строфа, иногда — только одна, две строки. Что же это за строфа, которую поэт так тщательно и упорно отработывал? Почему эти черновики сохранились, в то время как обычно все черновые материалы, относящиеся к начальным и промежуточным этапам работы, Николай Алексеевич после завершения произведения уничтожал? К какому времени относится рукопись?

В начале рукописи — страничка текста, перепечатанного на машинке, на ней четыре строчки на немецком языке в русской транскрипции с проставленными ударениями и их подстрочный перевод:

Много чудес рассказано в старых былях
О достославных витязях, о великой работе:
О радости и пиршествах, о слезах и плаче,
О спорах смелых бойцов вы услышите теперь чудеса.

Так начинается великий эпос немецкого народа — «Песнь о Нибелунгах». И вся рукопись — документальное свидетельство замысла Заболоцкого пересказать это знаменитое произведение русским стихом.

Намерение поэта перевести немецкий героический эпос возникло не случайно и не сразу. В 30-х годах он много занимался переработкой для детей классических произведений мировой литературы («Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, «Тилиа Уленшпигеля» Де Костера и др.). Большим успехом пользовался его стихотворный перевод-обработка для юношества поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Уже тогда обозначился интерес Заболоцкого к эпической литературе и средневековью. В своей библиотеке он собирал книги, относящиеся к интересующим его произведениям, особенно к «Слову о полку Игореве», которое он намеревался пересказать современным русским стихом. К этой работе он приступил в начале 1938 года и после длительного вынужденного перерыва закончил ее в 1945 году. Уже в 30-х годах Николай Алексеевич с особым интересом относился к немецкому эпосу и, возможно, подумывал о его стихотворном переводе или обработке. Во всяком случае, в письме 1939 года он упоминает «Нибелунгов» в числе немногих наиболее нужных ему книг из своей ленинградской библиотеки. Тогда он писал жене: «Вообще мне хотелось бы, чтобы из моей библиотеки сохранились лишь немногие книги: Пушкина однотомика, Тютчева томик, Баратынского два тома, Гоголь, Скворорода, Лермонтов, Достоевский, Бунин, Хлебников; книги, относящиеся к «Слову о полку Игореве» и Руставели. Есть также малоценные (по стои-

мости.— Н. З.), но нужные мне книги, например, Памятники отреченной литературы, библиотечка Чудинова (Нибелунги и пр.), и это, кажется, все» (выделено мною.— Н. З.).

Прошли годы,— другие события и литературные планы отодвинули старые ленинградские замыслы. Естественным продолжением работы Заболоцкого над переложением «Слова о полку Игореве» было его обращение к русскому фольклорному эпосу. В начале 50-х годов он внимательно изучил былины и намеревался на их основе создать единое эпическое произведение—поэму, написанную современным русским стихом. Он считал былины осколками некогда существовавшего цельного народного эпоса и хотел воссоздать его в удобочитаемом для современников виде. Л. А. Озеров в своих воспоминаниях о Заболоцком приводит слова поэта об этом замысле:

— Хочу дать свод былин как некую героическую песнь, слитную и связную. Я смотрел профессора Водовозова, знаю и другие попытки. У нас нет еще своего большого эпоса, а он был, как и у многих народов, был, но не сохранился целиком. У других — «Илиада», «Нибелунги», «Калевала». А у нас что?.. Обломки храма. Надо, надо воссоздать весь храм*.

Для начала Заболоцкий предложил сделать отбор и поэтическую обработку былин для издания, предназначенного для детей. Впоследствии, вероятно, хотел воссоздать и «весь храм» русского эпоса. К сожалению, по ряду причин эти его замыслы остались неосуществленными. Но примечательно, что в качестве примера создания единой героической песни Николай Алексеевич среди прочих произведений привел «Нибелунгов» (в разговорах он упоминал «Нибелунгов» и в других случаях).

В последний период жизни Заболоцкий с какой-то особой заинтересованностью стал относиться к эпической литературе и истории. В его библиотеке в Москве можно было увидеть произведения мирового эпоса: Гомера, карело-финскую «Калевалу», латышский «Лачплесис», киргизского «Манаса», французскую «Песнь о Роланде», «Оссиановы гимны» Макферсона... В конце 40-х годов он перевел три сказания из узбекского эпоса «Ширин и Шакар». В 1953—1955 годах сделал уже полный перевод с грузинского языка поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», воссоздав это средневековое произведение во всем его эпическом величии. Весной 1958 года Николай Алексеевич принял за перевод значительной части сербского эпоса и написал около пяти тысяч стихотворных строк переложения за очень короткий срок — вероятно, за три-четыре месяца. Одновременно он работал и над собственными стихами.

Заболоцкий заканчивал перевод сербского эпоса в Тарусе на Оке, где он провел июль и август последнего года своей жизни. Еще в прошлое лето он полюбил этот маленький городок с деревенским укладом жизни, высокий берег Оки, окрестные березовые рощи, стада коров на приокских лугах — все те приметы средней русской природы, которые с детских лет были близки душе поэта. В то лето созерцание провинциального быта и окружающей природы все отчетливее сопрягалось с мыслями о времени, о давно прошедших событиях. Историческая перспектива позволяла увидеть окружающий мир в новом для поэта свете. В его тарусских стихах заурядный деревенский петух становится подобием оптического фокуса, в котором концентрируется бесконечное пространство и историческое время. Петух представляется ему «звездочетом», «древними часами», «огненным витязем», «вымершим стихом», «разумом созвездий», заставляет вспомнить и путешествия Магеллана и Колумба, и царя Петра, и витязя Егория, и походы конармейцев («Петухи поют»). А подмосковные дубравы и березники соединяют петровского коломенца и юность поэта, воспоминания о церквях и усадьбах и пионерские горы современности («Подмосковные рощи»).

Натурфилософская концепция Заболоцкого как будто получала тогда новое, временное измерение. Общая точка зрения на события прошлого и настоящего позволяла объединить их в единую систему и давала поэту чувство власти над временем. В размышлениях об этом пребывала мысль Николая Алексеевича, и он писал:

* Воспоминания о Н. Заболоцком. М., «Сов. писатель», 1984, с. 319.

Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.

(«На закате», 1958)

Поэта тянуло в глубь веков. Когда-то он начал писать поэму «Осада Козельска» об осаде и взятии Батыем этого города в 1238 году. Поэма осталась незаконченной и была уничтожена автором. И вот Заболоцкий вновь возвращается к широкой панораме тех же исторических событий, но совершенно в ином плане — он пишет свой удивительный цикл «Рубрук в Монголии». В основе этого цикла или поэмы путешествие французского монаха Рубрука в страну монголов времен Чингисхана через не изведенные еще просторы Сибири. Произведение начинается словами «М не в с п о м и н а е т с я д о н ы н е, как с небольшой командой слуг, блуждая в северной пустыне, въезжал в Монголию Рубрук». И эти первые слова (выделено мною.— Н. З.) сразу наводят на мысль о причастности самого поэта к тем далеким приключениям, которые произошли с французским монахом. Вся очень современная интонация поэмы и ее язык подтверждают это впечатление. Конечно же, при создании этого произведения Заболоцкий руководствовался не только тщательно изученными им записками Рубрука, но и собственными воспоминаниями о передвижениях и жизни на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, Казахстане. Способность поэта одновременно ощущать себя в разных временных эпохах и поражает в стихотворном цикле «Рубрук в Монголии».

Можно полагать, что этот цикл был лишь первым в серии задуманных Заболоцким историко-эпических поэм, в которых он намеревался сделать как бы разрез через события и культуры разных времен, сблизив то, что было разобщено в пространстве и во времени. В свой последний вечер Николай Алексеевич рассказал жене Екатерине Васильевне о замысле написать трилогию поэм «Смерть Сократа», «Поклонение волхвов», «Сталин» *. В неосуществленных замыслах поэта могли проявиться и его всеохватывающий, глобальный взгляд на мироздание, и глубокая личная заинтересованность в событиях, принадлежащих истории. Можно только предполагать, что в эпическое изложение вплетались бы присущие и «Рубруку» гиперболы, гротеск, ирония (вот когда понадобился бы поэту опыт его творчества 20-х годов).

Не случайно параллельно с этими замыслами Николай Алексеевич планировал работу над переводом немецкого эпоса. Вся логика развития интересов Заболоцкого подвела его к «Песни о Нибелунгах», которая уже давно стояла в мысленном списке произведений, интересовавших поэта. Ему хотелось пережить в себе старинные народные сказания Германии, вновь соприкоснуться со средневековьем, где героизм соседствовал с жестокостью, высокие идеалы — с коварством, ненависть к врагу — с возвышенной рыцарской любовью. Возможно, в переводе он надеялся выразить и свои идеи об исторических катаклизмах и сопряженности времен. Интересовала Николая Алексеевича и чисто литературная сторона работы — хотелось еще раз применить свой опыт переводчика и свои принципы поэтического переложения иноязычного текста. Перевод большого, объемного произведения позволял, кроме всего прочего, четко организовать свое время, включив эту работу в твердый распорядок жизни, что было немаловажно для упорядоченной натуры поэта. Недаром именно тогда он написал известное стихотворение «Не позволяй душе лениться». Его душа требовала новых мыслей, замыслов, работы.

Как обычно, к осуществлению своего замысла Заболоцкий готовился основательно — изучал текст, эпоху, обдумывал принцип переложения. Он взял в библиотеке томик немецкого текста «Нибелунгов», вероятно, предполагал пользоваться подстрочным переводом (немецким языком он владел не очень хорошо), другими существующими переводами, консультациями специалистов. Договорился с издательством о будущей публикации своего перевода.

* Заболоцкий Н. Собр. соч. в трех томах. М., «Худож. лит.». 1983—1984, т.1, с. 636.

Приступая к работе, Николай Алексеевич должен был решить целый ряд вопросов, связанных с передачей старого немецкого текста современным русским стихом. В их числе — назначение перевода, границы отбора материала, способ передачи идейной и нравственно-этической стороны произведения. На одном из листочков с пробными вариантами перевода первой строфы поэт записал четыре пункта вопросов, требующих решения или согласования со специалистами и издательством. Вот эти пункты:

1. Об универсальном назначении перевода, легкости стиха и допустимых вольностях.

2. Об усечении лишней стопы в 4-м стихе и силлабо-тонической правильности.

3. О собственных именах, человеческих и географических. Ударение и написание.

4. О рифме. Нужна ли сплошная мужская? Может быть, две женские и две мужские? О монотонности.

Как видим, Заболоцкий хотел, чтобы его перевод был интересен разному читателю — от школьника до специалиста, легко читался, чтобы стих был живой и благозвучный. С этой целью поэт хотел в чем-то отойти от оригинала, следуя своему правилу: «Успех перевода зависит от того, насколько удачно переводчик сочетал меру точности с мерой естественности. Удачно сочетать эти условия может только тот, кто правильно отличает большое от малого и сознательно жертвует малым для достижения большого» («Заметки переводчика»). Б о л ь ш и м в произведении Заболоцкий считал мысль и мировоззрение его создателя, строй образов и дух времени, к которому относится произведение. М а л ы м — все те особенности иноязычной речи, которые при точном воспроизведении на русский язык приобретают иные смысловые оттенки, мешающие правильному восприятию основного, или б о л ь ш о г о, в произведении. Обо всем этом и размышлял поэт, читая в Тарусе немецкий текст «Песни о Нибелунгах».

Посетившие в то лето Заболоцкого М. И. Алигер, Л. Б. Либединская, П. А. Семинин свидетельствуют, что он охотно говорил с ними о предполагаемой работе над «Нибелунгами». На вопрос Маргариты Юсифовны, не боится ли Николай Алексеевич неизбежных ассоциаций старинных воинственных сказаний со страшными годами Германии, он ответил:

— Вот это и надо решить в переводе. Это и надо преодолеть. Непременно надо преодолеть. Нельзя же отдавать нацизму народный эпос Германии. Еще чего не хватало! *

А поэт Семинин рассказал о своей встрече с Николаем Алексеевичем в стихотворении. Есть в нем строчки, почти документально передающие слова Заболоцкого:

— Вот дом решил в Тарусе покупать,
И буду жить в нем и зимой и летом,
Да «Нибелунгов» по утрам кропать,—
С Гослитом сговорился уж об этом...

Здесь каждая строчка содержит точную информацию о жизненных планах поэта. Разве что слово «кропать» Николай Алексеевич вряд ли мог употребить по отношению к своей работе.

В том же стихотворении — о похоронах поэта:

А я у гроба слышал шум листвы
Густой березы над Окой паромной
И видел в знойном блеске синевы
Недавний август и простор огромный.
Поэт в ладье последней уплывал,
Оплаканный Брунгильдою ** прекрасной,
Которую он научить мечтал
Высокой речи русской в полдень ясный ***.

* Воспоминания о Н. Заболоцком. М., «Сов. писатель», 1984, с. 282.

** Героиня немецкого эпоса.

*** Воспоминания о Н. Заболоцком, с. 424.

Старшие смогли решить с давних дней
 Чужестные делая прославляют миром
 О тысячах примеров, но сила не и
 Про их великий примером, про их фактор и проле
 Чужие немало разумея услышать вас было
 Чужие немало разумея услышать с тех пор
 Как великий примером

х

Из сделанных Заболоцким многочисленных набросков перевода первой строфы «Песни о Нибелунгах» читателю предлагается несколько произвольно выбранных вариантов. Какой из них предпочел бы автор, неизвестно. Он умер вскоре после начала работы над переводом, в октябре 1958 года. Скорее всего ни один из этих вариантов не вошел бы в окончательный текст. Вспомним слова Николая Алексеевича, обращенные к Н. Л. Степанову по поводу перевода «Слова о полку Игореве»: «А ты знаешь — какая это работа. Можно написать десяток вариантов на одно место — и ни один вариант не подойдет» (из письма от 20 июня 1945 г.). Конечно, это не значит, что и все произведение переводилось бы в столь многих повторах. Когда был бы найден ключ к переводу, установлен размер и стиль русского стиха «Нибелунгов», работа, вероятно, пошла бы гораздо быстрее, как это бывало и при переводах «Слова о полку Игореве», «Витязя в тигровой шкуре», сербского эпоса... Но и сохранившихся листов с многочисленными вариантами уже не было бы — все их наверняка уничтожил бы автор, как он неоднократно делал это и раньше. Остался бы один выверенный, отшлифованный, окончательный текст. Теперь же сохранившиеся и частично публикуемые строки нам ценны как свидетельство исключительно добросовестного отношения Н. А. Заболоцкого к своей переводческой деятельности и как одни из последних, а возможно, и самые последние стихотворные строки, написанные поэтом.

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Наброски первой строфы перевода
 «Песни о Нибелунгах»

Чудес немало разных вещали в старину
 О витязях прекрасных, затеявших войну.
 О том, как пировала и гибла эта рать,
 Вы здесь чудес немало услышите опять.

●
Чудес немало разных в преданьях старины
О витязях прекрасных и бедствиях войны.
О том, как пировала и гибла эта рать,
Вы здесь чудес немало услышите опять.

●
В диковинных сказаньях давно минувших дней
Поется о деяньях прославленных мужей.
О счастье их и горе среди пиров и смут
Чудес вы много вскоре услышите и тут.

●
Чудес немало разных в сказаньях прежних дней
О подвигах прекрасных прославленных мужей.
Об их пирах веселых, о горьких их слезах,
О битвах и крамоле расскажем мы в стихах.

●
Богаты чудесами сказания отцов —
Великими делами прославленных бойцов.
Об их пирах веселых, о горе в грозный час,
О битвах и крамолах послушайте рассказа.

●
Дивимся мы сказаньям давно минувших дней,
Диковинным деяньям прославленных мужей.
О счастье их и горе, о споре в грозный час
Чудес вы много вскоре услышите от нас.

1958

«ПОЛЫНЬ» ПОЭТА
(К семидесятилетию Михаила Дудина)

Открывая очередной весенний ялтинский сезон, Михаил Александрович уже задумывал новую кипарисовую трость, для чего московский поэт Анатолий Передеев был «командирован» на пятиметровую высоту вверх по стволу мощного кипариса с целью срезать намеченную мастером ветвь. За это он был вознагражден предыдущей поделкой Михаила Дудина — внушительным, отполированным до блеска дорожным посохом. Старейший киевский поэт Иосиф Бухбиндер получил в дар от Михаила Александровича изящную кизиловую палочку для подъема в гору к Дому творчества писателей... А сам Михаил Дудин был весел, сочинял двустихия-экспромты, вспоминал зубастые частушки, радовался от души лету, кипарисам, товарищам-поэтам — и думал о своем... А в причерноморских степях уже палило солнце, начинали сохнуть травы, и, верно, где-то там, вдалеке, уже горчила степная полынь... Та полынь, чья горечь отозвалась в строках последнего поэтического цикла Михаила Дудина, который поэт так и назвал «Полынь».

И я хочу обратиться к творчеству поэта, о котором много написано, но все как будто не о нем. Фронтвик, Герой Социалистического Труда, любимец ленинградских знатоков поэзии (да и не только ленинградских), он издал столько книг, что даже их описание заняло бы десяток страниц... А я остановлюсь лишь на одном из его последних циклов, горечь которого, явленная в названии, не случайна. Она отражает раздумья большого поэта, стоящего на пороге 70-летия, о времени, совести, безумстве мира, раздумья, зачастую тревожные, о войне и мире...

Нынче легко пишутся комплиментарные рецензии, в которых почтительных эпитетов больше, чем достойных цитат. Мне не хочется идти по этой кривой тропке. Начну со стихов:

Жизни вечная основа,
Растеряв свои права,
Потеряла силу слова —
Стали мертвыми слова.

Человечество калечат
Радиация и яд.
Референты пишут речи,
Президенты — говорят.

Окружен поганой ложью
Вечной истины редут.
И впотьмах по бездорожью
Совесь с Правдою бредут.

Неправда ли, безжалостный взгляд на мир, взгляд без иллюзий. Не подобное ли предчувствовал в начале века другой поэт, петербуржец, а потом петроградец, который выкликнул свой реквием о том, «как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова?»

Не зря, как мне видится, циклу «Полынь» предпосланы провидческие строки Г. Р. Державина:

Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

И вот современный человек, житель двадцатого века, его последней четверти, оглянулся вокруг, осмотрелся — и в его душе затрепетала эта же державинская струна:

Дымится кратер тучей пепла,
И над землей клубится страх.
Надежда робкая слепла,
И гений прячется в кустах.

Это еще предостережение, еще не ответ на коренное «Как быть?» в этом мятущемся, встревоженном мире. Может статься, поздние стихи Михаила Дудина — это и есть безответные вопросы человека, который не способен подчиниться всеобщему безумию. Поэт многое видел, многое выстрадал, он не забыл, как Ленинград задыхался в кольце блокады, он не забыл сожженных захватчиками деревень родной земли, он постиг несовершенство и великую сложность человеческой Вселенной:

Сложен мир. Идеи гибки
И двулики, в свой черед.
Осмысление ошибки
Есть движение вперед.

Делу мира служит лира
Музыкой своих глубин.
В совершенстве жизни мира
Человечий род един...

Как быть в этом тревожном мире, как удержать его на рискованном волоске ядерного равновесия? Как сделать его праздником одного человека и всех людей вместе?

Вопросы. Вопросы. Трудные. Вечные. Корневые. Неразрешимые. Но — несмолчаемые.

Один из этих вопросов разрешается в чеканном раздумье о цельности человеческой личности.

Безумен мир или спокоен,—
В миру, как в собственном дому,
Ты жить по вольной воле волен,
Не подчиняясь никому.

Но это трудно, порой это невозможно. Да, но все равно:

Ты волен песни вольной волей
Весь мир на смертный вызвать бой
И защитить его от болей
Своею собственной судьбой.

Во всех этих стихах проявилось некое новое качество поэзии Михаила Дудина. Это качество — оголенное раздумье о мире. Никаких метафор, декораций, кулис, подмалевок, только напряженная мысль, только резкое раздумье о мире и собственной жизни в нем. Мысли о добре и зле. Спешить некуда, «песня иволги спета, и сны пересмотрены все»... Остается только попытка правды. Многие стихотворцы давно и благополучно ушли от правды, скрылись от нее в розовых поэтических лесах, утонули в лирической атрибутике, вуалях сравнений и сопоставлений. Однако слово правды — правдиво.

Святая Правда есть,
Но что с нее возьмешь?!
Власть — любит лезть,
А лезть — рождает ложь.

И нас с тобой
Опутало вранье.
И над людской судьбой
Кружится воронье.

Вот так — неоднозначно и беспощадно. Как не хватало в поэзии этой безжалостной простоты!

Обо всем этом подумалось мне в майские дни 1984 года. Дудин был печален в эти чудесные раннелетние дни. В Нальчике умирал его старый и добрый друг — Кайсын Кулиев, и никто на всей земле не мог ему помочь.

А вокруг раскинулась в цвету чудесная Ялта, полыхали костры багрянника, вкрадчиво стлалась по откосам и балконам голубая глициния, зацветали пальмы. Пушкинские кипарисы рвались к небесам. Неужели все это под угрозой бессмысленного уничтожения?

Непросто жить в мире, поставленном перед возможностью самоуничтожения, когда «над Гулливером меч Заносит лилипут. И не предостеречь Предательских минут. Нет ни надежд, ни вер. В душе Земли — зима. Спит Гулливер, а Свифт — сошел с ума». Это «Стихи, написанные в самолете на пути в Америку». В этой пометке над стихами — ключ к раздумьям старого солдата.

Участник двух войн, Михаил Дудин в первые дни после снятия блокады Ленинграда в составе наступающей армии вошел в уничтоженное фашистами село. Оно было выжжено, втопано в землю. Но когда освободители вошли в это село, словно из-под земли, из погребов, из землянок стали выходить к воинам закутанные в тряпье женщины, женщины, измученные,— они все казались старухами... Такое забыть нельзя.

А через многие годы Михаил Александрович побывал в чистом городке Веймаре, посетил дома Гёте и Шиллера и снова поразился тому, что когда-то в полукилометре от этого опрятного городка Веймара дымила фабрика смерти — Освенцим, и жители этих тихих немецких, чуть чопорных городков жили рядом с воплощением ада на земле. Как они могли дышать гарью сожженной человеческой кожи и человеческих волос?! Это невообразимо.

— Мне страшно перед белым листом бумаги,— выдохнул Михаил Александрович,— я, человек достаточно веселый и остроумный, извините за похвальбу, забываю о том, что в мире есть еще юмор.

Страсть неподвластна разуму. Но страсти
Подвластен разум. Он у ней в плену,
Где отклонений вечные напасти
Тумана разрывают плену.

И солнце зацветает на известке,
И постник забывает о poste,
И человек опять на перекрестке,
И мысли человека — на кресте.

Михаил Дудин сам на творческом перекрестке постижений и раздумий. Он вступает в возраст старейшины отечественной поэзии, страстно звучит в поэзии наших дней его трагичная лира.

Сергей Мнацаканян

* * *

Во сне по какой-то причине
Случайной привиделся мне
Белеющий парус в пучине,
Скользкий по синей волне.

Из бездны к седому карнизу
Причудливо гибкой воды
Взлетал он и медленно книзу
Сползал в основанье беды.

За парусом легкою прошвой
Стирался отчетливый след.
И — не было гибели в прошлом.
И — в будущем гибели нет!

И парусу не было больно,
И не было больно волне.
И что-то прекрасно и вольно
Играло и пело во мне.

* * *

Памяти В. П. Соловьева-Седого

Он слушать голос времени умел,
Сводил с концами новые начала.
И, перехлестывая за предел,
Его живая музыка звучала.

И мертвые — вставали, и в крови
Захлебывалась новая атака,
И песней исходили соловьи
Над хаосом погигбели и мрака.

И все-таки гармония жива
В бессмертии сочувствия и муки.
Течет Нева, и слезы льет вдова,
Трубят труба, и маршируют внуки.

ЧИТАЯ ПЛУТАРХА

Преследовала некогда Медея
Родных детей. Что быть могло лютей?!

Но более жестокая идея
Нас увлекла — детей Земли — людей.

Мы — губим жизнь и — растлеваем
душу,

Ее любовь. Не веря в чудеса,
Опустошаем Океан и Сушу,
Моторами кромсаем небеса,

Растаскиваем из запретной бездны
Самоубийства дьявольский трофей.
...Нет Эвридик и — песни бесполезны,
Никто тебя не слушает, Орфей!

* * *

Я всей жизнью своей виноват
И останусь всегда виноватым
В том, что стал неизвестный солдат
Навсегда неизвестным солдатом.

И в сознании этой вины,
Собирая последние силы,
Я стою у старинной стены,
У его беспощадной могилы.

И гудят надо мной времена
Дикой страсти войны и разрухи.
И погибших солдат имена
Произносят святые старухи.

Чудо жизни хранят на земле
Смертным подвигом честные люди.
Но грядущее мира — во мгле.
Но печальная память — в остуде.

И тоска мою душу гнетет,
И осенние никнут растенья,
И по мрамору листья метет
Оскорбительный ветер забвенья.

* * *

Два окна, да кровать, да четыре стены,
Да свечение полночи ватной,

Да шуршание старой пустой тишины,
И печаль о любви невозвратной.

О погибшей любви. Ни семьи, ни подруг.
И печали не будет отсрочки.
В изголовье смыкается медленный круг
Пенсионных ночей одиночки.

Воздух летнего города зноен и сух,
Лепетанье будильника глухо.
...Я дивлюсь на молчанье блокадных старух
И учусь у них мужеству духа.

* * *

Я знаю все, но только не себя.
Франсуа Вийон

Чем превосходней строфы,
Тем яростней навет,
Тем большей катастрофы
Достоин сам поэт.

В мельканье жизни разной,
В столице и в глуши,
Стихи есть дело праздной,
Отторженной души.

Но он с петлей на вые
Пройдет наверняка
Событья роковые,
Пустыни и века.

В попытке бесполезной
Желания суметь
Возвыситься над бездной
Классических сует.

А золотой чеканки
Шекспировский сонет
Есть способ из-за рамки
Глядеть на белый свет.

Всегда в пути

АЛЕКСЕЙ РОГОВ

Родился в Москве в 1938 году. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза.

Печатался в журналах «Юность», «Москва», «Смена», в альманахе «Поэзия».

ИГРА В ВОЙНУ

Проходят годы, и все реже
в войну играет детвора.
Все те ж враги, и крики те же:
вперед, за Родину, ура!

Нужны им схватка и победа,
и мы не знаем наперед,
когда соперничество это
иные формы обретет.

В них отзываются легенды
смягченным эхом той поры,
в которой были элементы
хотя и жуткой, но игры.

В ребячьих битвах негасимо
пылает красная звезда.
Но не играет в Хиросиму
никто, нигде и никогда.

ПИАЛА

Горячим зеленым чаем
наполнена пиала.
Садимся и забываем
текущие все дела.

Как будто мы на Востоке,
в какой-нибудь чайхане,
где, словно газелей строки,
орнаменты на стене.

Нам времени для беседы
хватает — хоть отбавляй.
Сиди, на судьбу не сетуй,
тяни горьковатый чай.

И если не смог заметить,
куда улетают дни,
минуты долгие эти,
нетронутые — цени.

Неспешно беседа льется,
неспешно бежит струя,
и видимость создается
нетленности бытия.

Но с мудростью той восточной
куда от себя уйдешь?
Шумит в трубе водосточной
московский осенний дождь.

Умнеем. Молодость наша,
должно быть, уже прошла.
И, словно бы жизни чаша,
в руках моих пиала.

* * *

На крыше отдыхает птица,
как сумрак синий, тает лед,
а оттепель все длится, длится,
который день, который год?

Весна на свете или осень,
не разобраться нипочем,
хотя, признаться, я не очень
вопросом этим удручен.

Я вижу неба край багровый
и трубы дымные вдали.
Спадают первые покровы,
или последние легли?

Неважно. Важен этот вечер,
заря в темнеющем окне.
И — никаких противоречий
нет ни в природе, ни во мне.

* * *

Над глухим, потемневшим забором,
над крылечком, где вход в райсобес,
над вороньим отчаянным ором —
просветленья высоких небес.

Мостовые разбитые грязны,
у домов — опечаленный вид,
но закат, удивительно красный,
за садами пустыми лежит.

Отгуляла, ушла непогода,
отшумела последней листвою.

Смотрит небо свободно и гордо
в лужи светлые на мостовой.

Леденящий, пронзительный вечер
на ветрах отшумевших стоит,
и насквозь городишко

просвечен,
и прекрасен, и настезь открыт.

* * *

Весна не весна без грачей.
Грачи задержались в дороге.
Смолкает последний ручей,
последние минули сроки.

Так что ж вас, друзья, не видать?
Какие вас держат циклоны?
Пойдете ль за плугом опять,
земле отдавая поклоны?

Снега за неделю сошли,
и дух обновления сладок,
но в добром хозяйстве Земли
разумный нарушен порядок.

В цепи не хватает звена,
не смотрится поле пустое.
Неведомо, чья здесь вина,
но дело совсем непростое.

Тревожусь, дела не идут.
Казалось бы, что за причина?
Но жду, как спасения ждут,
я гомона стаи грачиной.

**Живет и работает в Томске. По профессии — музыкант.
Автор книги для детей.**

ПРОЩАЛЬНАЯ

Матери сыночков наряжали,
Ласковой заботой окружали:

Наряжали в синие матроски,
Наряжали в алые испанки,

Уводили в белые березки,
Распевали песни про тачанки.

Чередюю годы пробежали —
Матери сыночков провозжали:

По путям-дорогам запыленным,
По чужой далекой стороне
Уходили мальчики в зеленом,
На зеленой танковой броне.

РЕЧКА ЧАЯ

*Василию Казанцеву —
поэту-земляку*

Имя самое простое,
Да забудешь ли его,
Цвета чайного настоя
Речка детства моего.

За далекою верстой,
Как за дымкою густой —
Невесомые березки
Да высокий сухостой.

Мне годок идет шестой,
Пью живительный настой,
И к тому же на матроске
Блещет якорь золотой.

Ни длинна, ни коротка,
Тихо плещется река.

Пароход мой, лебедь белый,
Режет рыжую струю.
Пароход зовется «Смелый»,
Я на палубе стою.

Мне вернуться бы домой,
Только годы — за кормой,

Где коричневая Чая
Омывает те края,
Тихо лодочку качая
У истоков бытия.

МАЛЬЧУГАНЫ

Никуда от тебя не деться,
Отголосок родного детства.

...В тихом стрекоте аппаратной
Прорезается подвиг ратный.

Пулемет по буржуйам хлещет,
Зал без памяти рукоплещет,
И бузит вопреки порядку —
И сжимаю я рукоятку

Самодельного пистолета:
На «Чая» — не взять билета,

Он душою ребячьей понят:
Он нигде головы не клонит,
Он неистово белых гонит,
И народ в упоенье стонет:
Неужели опять утонет?

Нет тачанки. Молчат наганы.
Где вы, brave мальчуганы?

Мы бы вовремя подросли:
Налетели бы, засвистели —

С деревянными пугачами,
Под багряными кумачами,

И в восторге, души не чая,
Унесли бы, спасли Чапая.

...А братва остается на ночь —
И бушует Василь Иваныч,

И опять генералов гонит,
И опять же — в Урале тонет,

И опять — восстает из праха,
И опять — на врага без страха,
И мелькает его папаха.

Знайте, битые воеводы,
Что пробьется Чапай сквозь воды,
Через годы, через невзгоды,
И добьется Чапай свободы,

Как бегут по спине мурашки
От чапаевской звонкой шашки.

ИСПОЛИН

Петр Великий был тяжелый человек:
Громы-молнии пуская из-под век,

Брал дубину, выбираясь на причал,
Гнал разбуженную Русь во весь опор.
Тороватых — было дело — привечал,
Вороватых не щадил его топор.

Петр Великий был веселый человек:
Не скупая, конопатил свой ковчег,

Коли шутка — не пролезет в ворота,
Коли пьянка — и ворота на запор,
И, наращивая крепкие борта,
По-веселому звенел его топор.

Что сработано — сработано навек.
Петр Великий был великий человек.

Начиная обновление от нуля,
Злую вахту нес годами у руля,
У начала замечательных начал —
Не напрасно и топор его стучал.

НА РОДИНЕ

Здравствуй, русская изба —
Деревянная резьба,
Властвуй, нива налитая
Да машинная косьба.

Думал — век не соберусь,
Думал — век не доберусь,
А дорога как дорога,
И стрекочет «Беларусь».

Стали больше города —
Стала гуще лебеда.
Где, изба, твои родные?
Не оставили следа.

Речка высохла до дна,
И осталась ты одна,
Не подаришь каравая —
Вот такие времена.

Не моя ли в том вина?

Родился в 1951 году. Окончил Казанский государственный университет и аспирантуру механико-математического факультета Московского государственного университета. Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Автор трех поэтических сборников.

Живет в Москве.

РАЗГОВОР ЗАСВЕТЛО

«Жизнь — в согласье с истиной, пока мы — звено в Космическом Порядке...»

Озеро ваяет облака.
Облака проводят ночь в распадке.
Между гор
пушистая вода
примет формы скального лекала.
На заре
волнистая гряда
в небе нарисует нить накала.

«Сбереженье света — цель и суть!»

Разве мы не облака искали?

Вон они: указывая путь,
медленно
идут
по вертикали.

БАРСУЧЬЯ НОЧЬ

Она безлунна — до поры:
вся — обонянье, осязание..
Барсук выходит из норы...
На гребнях гор дрожит сиянье...

Воздвигнуть тщится лунный храм
божественная чья-то кельма...
Свеченье бродит по горам,
как огоньки святого Эльма...

Еще темно, и тишина
превозмогает всхлип и шорох:
пока не излилась луна,
тьма взрывчата, как черный порох.

Барсук выходит не таясь,
спешит за еженощной долей,
а я утрачиваю связь
с листвою, рекой, сознанием, волей...

Я одинок, и темнота
жестока так в разгаре лета...
Мгновенье! Над седлом хребта
возник округлый купол света!

И храм под звезды вознесен,
и тень — все ярче и короче,
я человек, и я спасен
от шорохов барсучьей ночи...

И я тоскую на свету
уже о том, что, бликам веря,
мне вновь не преступить черту,
отсекшую меня от зверя...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МОЦАРТА

Зачем нам плакать, милый друг,
о том, что ветер свищет в чаще,
о том, что жизни настоящей
мы не увидели вокруг?

Зачем нам плакать, милый друг,
о том, кто ищет — не обрящет...
Торжественно и преходяще
утешимся. Ничто не вдруг...

Разрежет утром землю плуг,
а музыка слышна далеко...
До завтра, до конца,
до срока —
зачем нам плакать, милый друг...

Родился на Урале в 1939 году. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книги стихов «Когда мужчины говорят». Член Союза писателей.

* * *

Полустанок...
В толпе я стою...
Пахнет порохом
Высь ледяная.
Молча я на солдаток смотрю,
Их печалей не понимая.
Кипятком прожигают глаза
Русских женщин бессмертные слезы.
Вся Россия — как будто слеза,
Как слезинка — фонарь паровоза...
Помню я и слепых в поездах,
В их куплетах война голосила...
Пыль на сердце и пыль на ногах,
Но стоп-кранам сдержать их не в силах.

Жизнь колес я давно полюбил —
Их железные речи и песни,
И конечно, не всех позабыл,—
С кем в плацкартных вагонах был
вместе,

С кем я скромной сухою едой,
«Беломором» и пивом делился...
Прозревал я душой и судьбой,
Их сердца
Изучая
И лица.

* * *

Мы умираем — жизнь остается
Бабой рябою над черным колодцем,
А из ведра
вечность звездная
льется,
Падают звезды — каждая бьется.

Мы умираем — жизнь остается.
Баба встречает рассвет у колодца...

Сердце
твое и мое

в ней забьется,—
Нас вспоминая,— она засмеется.

Мы умираем — жизнь остается...
Плавает солнце, не тая, в колодце.

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

Я над Родиной замру,
Высоту ее осилив,
И, насквозь пройдя зарю,
Может быть, пойму Россию.

Только б самолет взлетел,
Только б совершил посадку
И под плач небесных тел
Не произошла накладка.

ИЗ СЕВЕРНОГО ДНЕВНИКА

Мне ветры душу раскачали,
Как дно у глинистой реки...
Я — в Радужном... Не спят ночами
БелАЗы и буровики.
«Работа!» — ветровое слово!
Соль на висках и на зубах!
И радуга восходит снова
Из сердца, чтоб светить в веках.

Но — бьет фонтан!.. А нефть не хочет
Гореть, сжигая воздух, зря.
И слышу я, слезой рокочет —
Неостываемой — Земля,
Которую, пока не поздно,
Успеть спасти бы мы смогли...
Которую, быть может, звезды
В лист смертников уже внесли...

* * *

Я вдалеке остался — молодой,
Да нет — моложе даже молодого,
Весь не в разладе с миром и собой.
Но где же?..
Где?..
Припоминаю снова.
Литой снежок летит...

Пчела шумит...

Все вижу, слышу — не запоминаю.
И что об этом сердце защежит —
Через полжизни —
Не предполагаю.
На облаке в полночных снах катаюсь,
Не разбиваясь, падаю с него.
И ни в одном грехе еще не каюсь,
Поскольку нет
Греха
Ни одного.

* * *

В тот городок я заскочил
Всего на сутки:
От детства только взять ключи...
Но что за шутки?..
Ни детства нет и ни ключей,
Вся память в пепле.
И я один стою, ничей
В каком-то пекле.

Куда же мне теперь?.. Куда:
На юг? На север?..
Кто мне подскажет?..

— А туда,

Где кто-то верит,
Что вправду был ты молодым,—
Хрипят мне тучи,
От молний выдыхая дым.
Сухой. Летучий.

* * *

Золотой распад природы,
Золотой распад деревьев.
Футуристкой осень бродит,
Блузу желтую надев.

Листьев головокруженье,
Листьев медленный полет —
Хлорофилловое жженье
Дни и ночи напролет.

Ничего ему не надо,
Хочет только одного:
Золотого листопада,
Непоспешности его.

Хорошо и в непогоду
Наблюдать в цветной глуши
Золотой распад природы,
Глубину ее души.

Родился в 1953 году в Брянске. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работал слесарем в объединении «Брянский машиностроительный завод», корреспондентом газеты «Брянский рабочий», редактором газеты «Брянский комсомолец».

Стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Москва», «Сельская молодежь», в альманахе «Поэзия», коллективных сборниках «По первопутку», «Вдохновение».

Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

9 МАЯ

Нет, война не окончена взмахом единым пера,
Счет потерям закрыть не пришлось обжигающей вестью.
Через десятилетия фашистские бьют снайпера.
Чье уставшее сердце сегодня возьмут в перекрестье?
Нет, не выплакать слез матерям по убитым сынам,
Не встречать у порога, измученных, хлебом и солью.
Через десятилетия они возвращаются к нам,
Становясь негасимую совестью нашей и болью.
Нет, священную ненависть нам забывать не пора,
Никогда не простим, никогда не окажемся квиты!
Через десятилетия фашистские бьют снайпера,
Но в атаку живых поднимают и те, что убиты.

НОЧЬ

Такая ночь у Девичьего вира —
В округе полусонной
Ни огня.
Загадочнее
 сотворенья мира
Грядущее возникновенье дня.
В крошечной тьме неясно отразятся
Неровный шаг
 и сбивчивая речь...
Подумаешь:
 откуда свету взяться?
Да и кому дано его зажечь?
И призрачным покажется вращенье
Вокруг светила тверди
 и воды.
И долго душу мучит ощущение
Всесветной неминуемой беды.

ГАРЬ

Корни черные в черном суглинке —
Воспаленные вены земли.
Ни роста,
Ни цветка,
Ни былинки
Под ногой,
 утонувшей в пыли.
Где подлесок кудрявился юный,
Дуб вздымался, как воин и страж,
Нынче полубугленный,
Лунный,
Угнетающий душу пейзаж.
Бесконечные тучи нависли
Над землю,
 что обожжена.
Как лицо человежье без мысли,
И страшна и нелепа она.

* * *

Вспоминайте, как молодость, летнее пекло,
Промелькнувшее в хохоте и озорстве.
Скоро изморозь ляжет по травам поблеклым,
По сухой и звенящей, по ясной листве.
Над размытой чертой между тьмою и светом
Звезд мерцающих выплывет поздний косяк,
Улетает тепло, нареченное летом,
И студеные ветры идут на рысях.
То, что вечностью чудилось,— только мгновенье,
И наверное, в мире не первому мне
Все мучительней к памяти прикосновенье,
Все теплее в ее отраженном огне.
Скоро красным засветится по снегу тальник,
Станут зори прозрачней, а взоры темней.
Время думать о жизни, о жизни, как тайне,
Или век доживать и не думать о ней.

ПРИБАВЛЕНИЕ ДНЯ

Всюю метель гудит ночами,
И неприметен к лету сдвиг,—
А мы и дней не замечаем,
Не то что краткий этот миг.
Но кто-то угли теплит в горне
И отнимает миг у тьмы,
И под землю слышат корни
Все то, чего не слышим мы.

* * *

Спутанные никнут корневища
Второпях поверженных дерев...
Мать-земля когда-нибудь да взыщет,
Нас, ретивых, к стенке приперев.
Взят рубеж,
И списаны потери,
Никого ни в чем не упрекнешь.
Вроде зла травинке не хотели,
Вроде цель оправдана,

И все ж..

Говорунья-речка умирает,
Редко шмель над клевером гудит:
Бой идет,
Который проиграет
Безраздельно
Тот, кто победит.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ

Поэзия, конечно, не война,
Но есть и в ней приверженцы

«блицкрига» —

Уже винят, что мы пришли без крика,
Что и растем и пишем слишком тихо
В стремительные наши времена.
Что отвечать? И отвечать кому?
Нет среди нас мессии и пророка.
Порок ли это? Следствие порока?
К чему гадать. Не торопите срока.
Мы все ответим.

Все. По одному...

Родилась в 1959 году в городе Калининграде. Окончила Калининградское культпросветучилище. Работает во Дворце культуры вагонозавода. Печаталась в альманахах «Поэзия», «Истоки», в коллективном сборнике «Добрый день».

РОДИНЕ

Не знала тебя заплаканной
И стонущей во мгле...
По латаной-перелатаной,
Но самой жесткой земле
Ступаю легко и ласково —
Ей боли не приношу.
И мир наполняю сказками,
Что девочке расскажу...
Деревья поют, влюбленные.
(Весенняя чистота!)
Как близко им от зеленого
До огненного листа!
До огненного... И надолго

Или на один лишь миг,
Но страшная смерти радуга
Возникнет в глазах моих.
До огненного... И времени
Я слышу не бой, а стон.
И небо в железном бремени,
Тяжелее, в сотни тонн.
Одно только слово «огненный»...
А если и впрямь пожар?
Тогда превратится в облако
Земной наш, хрустальный шар?
И песни прорвутся ранние
Привычного соловья...
Гляди: от салюта вздрагивает
Веселая дочь моя!

КРЫЛЬЯ

Дочь вышла на крыльцо, морозное, седое,
И кликнула меня: «Смотри-ка, посмотри!»
И, головы задрав, мы наблюдали двое,
Как в небо вырвались живые снегири.

Все выше над землей и вот-вот-вот растут.
Уже не сосчитать их, отблесков зари.
«Ой, мама, посмотри, комарики летают.
Ой, мама, а куда девались снегири?»

Я только улыбнусь. (Так взгляд ее доверчив!)
Дочурка подрастет и все поймет сама:
Чем дальше мы от птиц, тем наши крылья мельче...
«Ты варежки надень — на улице зима».

СТЕНЫ

Ну вот: ни встреч и ни звонка...
Двенадцать стен, три потолка,
И окна смотрят свысока
Весь день, не уставая,
Как далеко-недалеко

Плывут беспечно и легко
Вдоль магазина «Молоко»
Холеные трамваи.

А двор стеною скрыт от глаз.
Там, верно, ты стоишь сейчас
И, бедный мой, в который раз

Вздыхаешь непременно.
А может, это и не ты.
Но все равно, там есть цветы
И птицы солнцем залиты.
Ах, стены-стены...

Вот чей-то очень детский крик.
А это, кажется,

старик,

Он с палкой бегать не привык,
Бранится то и дело.
Так, невесомая, одна
Весь день —

с утра и до темна,
Туда, где не было окна,
Я пристально глядела.

* * *

На небе три пятна —
Три тучи злые.
А я к тебе — одна.
Назад, из мглы я.

А я к тебе на час.
(Не ждешь другую?)
Один лишь только раз
Вот так могу я.

...Автобус пуст и гол
(Но что за скорость!),

А вот и дождь пошел,
Прозревши морось.

А я сижу в углу
Самозабвенно.
И капли по стеклу,
Как кровь по венам.

БАХ. ОСЕННИЙ СЛУШАЯ КОНЦЕРТ

Ты слушала орган.
За длинным витражом
День снова воскресал
И снова был сожжен.
Не почитая гамм
И фуги не любя,
Ты слушала орган,
Как слушают себя.
И таял прочный лед
В тебе исподтишка.
Бах — сутки напролет,
Бах — судьбы напролет,
Бах — напролет века...
Ты слушала смелей
Ты чувствовала, что
Быть надо бы добрей,
Жить надо бы светлей...
Не то,
Не то,
Не то...

**Родился в 1944 году в Москве.
Окончил школу-студию (вуз) имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТе СССР имени А. М. Горького. Работает в Академическом театре имени В. Маяковского.
Стихи публиковались в журналах «Юность», «Смена», «Работница», «Театральная жизнь».**

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!

Отснятое
С жестокой правдой,
Документальное кино
Не рвется в Канны за наградой.
Оно —
Трагедии равно.
Стоят берез осенних свечки,
А где дорога
Мчится вниз,
Чуть в стороне от быстрой речки,
Вознесся к небу
Обелиск.
Другие кадры:
Танки, пламя,
Атака,
Дым,
Окопы —
Ад.
А вдалеке.
На заднем плане,
Едва замешкался
Солдат.
И пуля на глазах скосила,
Его к земле
Прижав, как лист.
Упал нескладно,
Некрасиво,
Как необученный статист.
Речь не озвучена комбата
Над прахом боевых друзей.
А сколько метров не отснято
Немых
Страданий матерей!
Тоску их
Не назвать земною.
Киномеханик, знай крути
Трагедию, пускай длиною

Хотя б до Млечного Пути.
Ищи до боли ясный фокус,
Представь
Поблекший позитив,
Чтоб войны
Не проникли в космос,
В кощунство память обратив.
Что снято,
Для потомков свято.
Но вновь людей не воскресить.
Нельзя забыть,
Как те ребята
Сквозь смерть тянули
Жизни нить.

* * *

Остановись,
пока не замкнут круг.
Поверь себе —
отчаянье минует,
когда любовь негаданная
вдруг
тебя хоть на мгновенье
зачарует.

Остановись,
когда попросит друг,
а не кичись
своей походкой гордой.
Среди чужих отчаяний
и мук
остановись,
когда другому горько.

Остановись
и в прошлое взглядись,
до детства дотянись —

еще не поздно.
Там беспредельна
голубая высь,
а ночь дарует
пригоршнями звезды.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Вся в сугробах спит деревня.
Сквозь столетия и снег
Вековечные деревья
Проросли в двадцатый век.

Где-то солнце поднимается.
В чаще глухо снег скрипит.
День в потемках начинается,
А пока все в мире спит.

Но светлеет небо стылое. ♦
Слышен крыльев первый взмах.
Привидение унылое
Исчезает на глазах.

Одурманенное светом,
В час для нечисти плохой,
Обернется вдруг с рассветом
Одинокою ольхой.

Трели прозвонит осколочек
В тишине... И птичий гам

Заструится среди елочек
По искрящимся снегам...

* * *

День опять тревожит новизною
Облаков и белых тополей
В тишине полуденного зноя
Над простором золотых полей.

Все сегодня ясно и открыто.
А вдали, где синевы края,
Смотрит лес на тополя сердито,
Крепко тайну вечную храня.

Но леса, как маленькие дети,
При чужих имеют важный вид,
А войдешь — покой душевно
встретит,
Лишь береза тихо прошумит.

Гут любовь доказывать не надо
И пустых произносить речей,
И укроет влажная прохлада
От палящих солнечных лучей.

Ничего, что в глушь ведет дорога.
Здесь всему найдется свой ответ,
Даже если станет одиноко
От воспоминаний долгих лет.

Родился в 1946 году в селе Старомастерское Донецкой области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Печатался в журналах «Юность», «Сельская молодежь». Автор четырех поэтических сборников. Лауреат литературных премий имени Б. Горбатова и А. Стаханова.

ДЕРЕВУШКА

Небольшая деревушка:
пять избышек, пять дворов,
от березки на опушке
до крылечка — пять шагов.

Но когда к утру светает,
я увижу из окна:
лес деревню обступает,
как Кремлевская стена!

* * *

Шелестела листва, облетая,
закружили снежинки, как пух,
и моя лебединая стая
без меня улетела на юг.

На рассвете заплакала вьюга,
заметая бессонье мое,
и чернел я один среди луга,
и кружило вокруг воронье...

* * *

Старый сад над обрывом навис...
В сентябре, в золотую погоду
сколько яблок срывается вниз
и стремительно падает в воду!

Только сторож преклонных годов,
из шалашика выйдя на берег,
золотое паденье плодов
не считает досадной потерей.
«Значит, надо...» — решает старик.
Жизнь к потерям его приучила...
И стоит он. И слушает крик
птичьей стаи, едва различимой.

ЗВЕЗДНОЕ ДЕРЕВО

О этот мир с немим мерцаньем звезд!
Я чувствую его глухую власть:
единою системой кровеносной
его судьба с моей переплелась.
Ни окрика, ни эха, ни души...
И в душу ночь дуплом глядит горелым,
а я наивно верю в миражи
загадочных летающих тарелок.
Наверное, кому-то повезло...
Я в ночь смотрю, как в черное дупло,
где светлячки сбиваются в планеты.
Нависла тень могучего ствола,
где бродят соки и добра, и зла...
И зреет плод — дитя и тьмы, и света!

Родился в 1929 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Московского государственного университета. Стихи печатались в журналах «Смена», «Огонек», в альманахе «День поэзии».

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ

Затихли, присмирели, потемнели
присыпанные снегом ели.

А воздух так пронзительно прозрачен,
что каждой снежинкой обозначен.

Снежинки тихие, влетая в яркий свет,
раздумывают: падать или нет.

Я вдруг уразумел тебя сегодня,
природа зимняя в поре предновогодней

Устав от всех уродств и всякой красоты,
к рождению новому себя готовишь ты.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Листаю телефонный список.
В нем — отраженье стольких судеб:
несчастий, радостей, ошибок,
того, что было... и не будет.

И в это трудное сплетенье
моя планида вплетена,
и тоже у кого-то тенью
таится в записях она.

РАЗЛУКА

Вспоминаю город мой,
он всплывает из тумана.
Очень хочется домой,
но, увы, пока что рано.
На судьбу устав пенять,
вечно за собой в погоне.
Если б мне себя понять,
может быть, других я понял.

* * *

Опять в работу влез,
превозмогая лень.
Забыл, как пахнет лес
в погожий летний день.
Как ветер шелестит
зелеными листьями.
Как бабочка летит
над синими цветами.
Я думал: отчего
природа сотворила
одним — скрипящий воз,
другим — полет и крылья.
И есть ли свой резон
в извечном чувстве долга,
когда диктует он
служить ему, и только?
Так мысль моя плыла,
но что-то упускала:
какие-то дела
и суета мешала.
И вновь осталось что-то
у мысли за бортом.
Но позвала работа,
и я решил — потом!

* * *

Взаимность — навеки?

На миг?

И кто ее выдумал только.
Она не из детских ли книг,
которых написано столько?

Пытаюсь придумать ответ,
который утешит хоть как-то.
Но знаю — взаимности нет
со всей непредвзятостью факта.

Родился в 1956 году в Баку. Окончил Московский государственный университет и аспирантуру. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Смена», в альманахе «Поэзия». Живет и работает в Москве.

* * *

Постепенно в нем все погубило:
сначала высохло дерево,
потом исчерпалось море,
после луна, а следом
птица, медуза, камень,
змея, черепаха, облако...
В конечном итоге в нем
остается одна улитка —
способность смотреть на мир
из нарастающей глубины
раковины.

* * *

Вспоминаю себя
живущим в пещере и плачу
о навеки утраченном счастье, когда
глоток из ручья
и на древе повисший банан
определяли границы
сознания.

* * *

Он никогда не любил черепах и даже
испытывал к ним неприязнь и страх,
ибо был совершенно уверен,

что именно они — черепахи —
крадут у людей пространство...
И не потому ли наш мир
так тесен?

* * *

Он знает, что в этой огромной
Вселенной
есть такая звезда, по которой, царапая
ее голубую искристую кожу,
перемещаются денно и ночью
осенние, жесткие, ржавые листья.
И его непрестанно преследует мысль
о своей сопричастности к этой звезде,
он даже лицо закрывает руками,
спасая себя от царапин!

* * *

Намагниченный грезами,
он начинает беззвучно крошиться
и мелкими звездами
падает в океан...
Существуя отныне
в мерцающей памяти рыб,
он обретает структуру
космоса!

* * *

Никогда и ни в чем
он не знает сомнений, всегда
он уверен в себе и спокоен, как зеркало.
И никто на земле —
ни люди, ни звери, ни птицы —
не способен нарушить в нем это спокойствие, ибо
самый гладкий на свете камень у него в кармане!

Родился в 1953 году в селе Семеновка Уярского района Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт, Литературный институт имени А. М. Горького. Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Автор книги стихов «Все теплые краски земли» (Красноярск, 1979 г.).

РОДНЫЕ ДАЛИ

Еще речные берега
не сблизились друг с другом.
Еще совхозные стога
не высятся над лугом.

Еще июньское тепло
к нам ластится ночами —
и виснет полдень тяжело
за нашими плечами.

И, нагнетаемый жарой,
зернистый, как початок,
взбухает облак над горой —
и дождь весом, но краток.

Слепит
кричащая эмаль
земного разноцветья!

Но глухо свернуты в спираль
окрестные столетья...

ЭКОЛОГИЯ

1

Живым? ненародившимся? умершим? —
кому из нас

покойнее сейчас?

Ведь если равновесья не удержим —
и вспомнить будет некому о нас!

2

В грозные нынешние годы
наконец догадываюсь я:
города не пасынки природы,
а ее

живые
сыновья...

3

...Иль с миром птиц, деревьев и зверей
железный ум,
не склонный к милосердию,
свое родство почувствовал острее —

пред общему,
 грозящей всем нам,
 смертью?

ДЫХАНИЯ

В трамвае полуночном окна застыли,
за плотными стеклами ждет снегопад,
но тонкие струйки серебряной пыли
и в тихом салоне нам лица кропят.

А это дыхания наши замерзли
и вниз опускаются, в лед обратясь,
и с теми, за окнами, рядышком, возле,
у этих ледышек прозрачная связь.

Ведь снега, берущие землю в объятия
хранить от мороза для вешних лучей,—
ведь их надышали не наши ли братья:
болото и лес, океан и ручей?

Ведь воздух-то сам... За упругою пленкой,
которая нынче едва ли прочней
вот этой, оконной, заснеженной, тонкой,—
какая метель поджидает за ней?

Дыханье твое отогрею в ладони...
любимая! — мир окончительно мал,—
в летящем во тьме застекленном вагоне
мы дышим одним, кто бы чем ни дышал...

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

В проселочную колею
как бы насыпали стекла —
по хрусткой лужице к жилью
машина поздняя прошла.

Легла дорога на закат —
и, на изломах золотясь,
холодным пламенем горят
ледышки, вдавненные в грязь.

На горизонте облака,
немые вестники зимы,
они грозят издалика,
и низко стелются дымы,—

оповещая,
 что зима
уже придвинула шатры,
зажгли
 крестьянские дома
свои сигнальные костры...

Родилась в 1932 году в Краматорске. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. Работает научным редактором во Всесоюзном объединении Агропромиздат. Публикуется впервые.

* * *

Когда считалась я живою,
Уже догадывалась я:
Жизнь обзывают кутерьмою,
Всего живого не цenia,

И не умеют дотянуться
До самой главной высоты,
И не желают улыбнуться
Ростку неяркой красоты.

И я сама не улыбалась,
Жила, события дробя.
И если яростно смеялась,—
Внутри себя, внутри себя...

А вот сегодня я считаю,
Одну себя во всем вина:
Как хорошо, что я сгораю
Невидимо, при свете дня!

А впереди еще минута —
Весна проснется на Земле!
Из драгоценного сосуда
Прольются звезды в полумгле.

* * *

В России лиственниц так много,
Ты не поверишь — иногда
Лишь ими выстлана дорога
И живы города.

Мы почему-то белоствольную
Поэтизируем и чтим.
Тех лиственниц дорога хвойная
Ведет в тайгу за Усть-Илим.

А если думать о символике,
О жатве и о семенах —
От лиственницы пахнет волею,
Такой размах!

* * *

Приметы времени — вы мета
Привычных слов:
Уже никто не помнит лета
Первооснов.

А ведь и весны, верно, были,
Как будет снег.
Болота лапником стелили —
Утрачен след.

Приметы времени — находка
Для простаков.
Иной товар сбывает ходко —
И был таков!

То не спортивная удача,
Не счет голов:
Среди бессонницы и плача
Ваянье слов.

МОДЕЛЬ ОСЕНИ

Как странно: дождь прошел,
А листья все роняют капли...
И лепестков измятый шелк
Уже давно списали в паклю.

Как странно: ветер сник,
А листья чередой кружатся...

Их гонит осень-проводник,
Но то игра иных субстанций.

Как странно: снег позвал,
Как двести лет назад и триста...
Не таял. Просто каждый знал,
Под ним — скелеты — певчих листьев.

* * *

Все атрибуты той войны
Давно и хорошо воспеты.
Все чаще их берут займы
Давно уставшие поэты.

Уже и дети той поры
Снимают фильмы, пишут пьесы!
По-мемуарному добры
К воспоминаньям поэтессы.

Все слезы выжаты. До дна.
И наши песни поседали.
Не может быть, что я одна
Не вынута из той купели.

Родилась в 1956 году на Дальнем Востоке. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

Стихи публиковались в дальневосточных газетах и журналах, в альманахе «Поэзия». Автор книги стихов «Бухта светлая».

* * *

Далекая прамаменька, разреши
перед тобою на колени опуститься.
Родная твоей плоти и души
досталась мне бессмертная крупца.

Я поздно каюсь: по моей вине
нарушена та жизненная связь,
с которой подарили право мне
возникнуть в мире, женщиной зовясь.

Все естество кричало мне: не смей.
Тянулось время, сроки отменяя...
На древе жизни множество ветвей,
Но нет одной — лишь рана ножевая...

Природа не простит. И тот изъян
Невосполним. И где-то
в дальней дали
На пустыре безвременья бурьян
И тот взойдет едва ли...

* * *

Душа, согретая теплом,
Познав и злобу, и утрату,
Не хочет говорить о злом.
Оно не подлежит возврату.

Оно истлеет в глубине
И станет почвой благодатной.
И вырвутся на свет извне
Цветы, загложшие когда-то.

И цветом буйным зацветут,
И завязь крепкую подарят!..

Ведь на Руси добром живут!
На добром едут!
Добрым правят!

* * *

Прилипли мокрые одежки
К спине худущей и коленям.
Мне десять лет, как и Сережке.
Мы под дождем поем осенним.

Он мне из школы музыкальной
Принес трагический секрет:
Имеет слух он уникальный,
А у меня-то слуха нет.

Асфальт поверхностью зеркальной
Рассеивает желтый свет.
Прощальный, вовсе не вокальный,
Печальный был у нас дуэт.

Он уходил Орфеем. Тихо
Сказал вослед: «Вот погляди-ка
Хоть в лужу — ты не Эвридика...»

А дождь смывал Орфеев след.
Так много, много, много лет
Льет дождь простуженно и дико:
Нет-нет! Какая Эвридика?
И думать этого не смей!
Ишь, Эвридика!
Ишь, Орфей!

* * *

Я бы Верую дочку свою назвала.
И на свете бы Вера была и росла.
Самой светлой, и доброй, и чистой она
Мудрой силой природы была бы дана.

Протоптали б ее неумные ножки
В бездорожье таежном дорожки
и стежки.

Голоску ее тонкому вторили б птицы...
Но не выпало ей в этом мире родиться.
И вина перед ней, как бездетная мать,
Начинает обиду в беду пеленать.

* * *

Бездомная птица ко мне прилетела,
воды попросила пить.
Глоточек глотнула бездомная птица
и с болью в глаза поглядела.

— Не хочешь ли, птица, со мной поселиться?
Мне в доме пустом одиноко.
С тобой заживем как с сестрицей сестрица...—
Но птица попятилась боком:
— Не надо,— чирикнула,— так не годится,
Я вольная, а не бездомная птица.

* * *

Ах, кукушка-завирушка,
не пророчь мне, не пророчь!
Не чернушка, не дурнушка —
бедной мамоньки я дочь.

Полетела б я скорей
к милой мамоньке моей,
только крылыньки, кукушка,
мне займи на пару дней.

Ах, кукушечка-подружка,
не кукуй про самолет,—
у меня казны — полушка,—
сто полешек — самолет!

Ах, кукушечка-кукушка,
не пророчь мне, не пророчь.
Не чернушка, не дурнушка,—
милой мамоньки я дочь!

* * *

В пути нелегком ощущая жажду,
в предчувствии усталости своей,

не отдыхай на перекрестке
каждом,
из каждого источника не пей.
Седой старик давно мне завещал,
но суть завета лишь теперь
открылась.

Я все ждала погоды и похвал,
но, слава богу, спохватилась!
В пути нелегком ощущая жажду,
в предчувствии усталости своей,
не отдыхай на перекрестке
каждом,
из каждого источника не пей.

* * *

Мой сын,
ты проснешься рано,
и резкий холодный ветер,
как только ты выйдешь из дома,
подует тебе в лицо.
А люди пойдут навстречу,
а люди пойдут с тобой рядом,
а люди тебя обгонят
и останутся сзади...
Но все мы куда-то спешим...

ПАМЯТИ ТЮТЧЕВА

Сладким рассказням верит душа,
Обещает она, обещает,
До сих пор ничего не сверша,
Будто что-то мешает, мешает.

Обетшает она не спеша,
А заметив печать отчужденья,
Не оставит себе ни гроша,
Кроме птичьего недоуменья.

И забьется под гранью предела,
И, преграду собой сокруша,
Воспарит. А бездушное тело
Разрешится душой малыша.

Сладким рассказням верит душа,
Обещает она, обещает...
До сих пор ничего не сверша,
Будто что-то мешает, мешает.

* * *

Похоже, не было печали
С оглядкой ворошить былье.
Но птицы,

хоть и воронье,
Но птицы горестно кричали.
...О чем они?

Возьми спроси!
Напоминали о печали,
Давно прошедшей на Руси?
И сделалось до крика больно,
И показалось:

даль в огне,
И, как от вести о войне,
Вдруг сжались кулаки невольню

...Кругом спокойная земля.
С чего привиделось такое?
Тревожно шепчут тополя:
«Ты что? Устала от покоя?»

Мастерская

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ЗОЛОТЫЕ ТОЧКИ

Это название для заметок о поэзии пришло из стихов замечательного и пока еще недооцененного поэта Сергея Маркова. Само по себе оно, вероятно, не столь оригинально — сходные названия бывали и красивей, и знаменитей, скажем, «Золотая роза» Паустовского. Однако убедительней всяких оговорок — первозданные строки цельного и ясного поэта.

Жизнь свою попробуй сделать чудом,
Не на месяц, а на много лет.
Находи и сохраняй под спудом
Радость, источающую свет.

Вот смотрю, смятенный и томимый,
И твержу: «Я буду очень скуп».
Только я заметил у любимой
Золотые точки возле губ.

Да, эти золотые точки всегда будут мерцать для человека, чувствующего поэзию, разлитую в мире и воплощенную в подобных жизнелюбивых и пристальных строчках. Они зовут вспомнить золотые точки у губ любимой, готовящейся стать матерью, — тогда они особенно заметны, золотое пестрение купальниц вдоль тропинок и по окраинам болотин, желтые маскирующие точки на прогони-стом теле щуки, азартно выхваченной из воды. Золотые точки воспоминаний обо всем родном, истинно поэтическом, что заставляет вздрогнуть над прочитанной строкой и зовет поделиться своими скромными, частыми открытиями с другими.

ПОЭЗИЯ ОБЫДЕННОГО

В сборнике литовского поэта Альфонсаса Малдониса «Путь» меня поразило стихотворение «Баллада об ольхе». Не то чтобы оно было самым ярким или удачным по переводу, просто за ним открывались горизонты, которые обнадеживали. Поэт обращается к неказистому, почти сорному дереву. Им зарастают брошенные выпасы и пожни, вырубки на месте сведенных ценных пород деревьев. Но ведь и ольха — живая частица родины. Она тоже радуется весне и грустит, умирая осенью. Причем сама смерть ее не столь пышна, как у прославленных, воспетых в дайнах и лирических стихах собратьев.

Яворы, липы и клены
Медью гремят и горят.
Старится ветхий и блеклый
Твой неказистый наряд...

Осень, полная скорби,
Стыла на влажном ветру.
Гнали гниющие корни
Мутную ржавь под кору.

И тут мне явственно увиделся красно-ржавый слом или сруб ольхи, нещадно сводимой на жерди, дрова, послышался шум ее выцветающей и чернеющей осенней листвы. За этими строками увиделось столько сострадания и любви ко всему, что открывается нашему взору, и радостная мысль прихлынула к сердцу. Сколько еще в этом мире неувиденного, не обласканного чувством, родственным вниманием, как говорил Пришвин. Наконец, не воспетого. Все броское — тот же прибалтийский янтарь, наша береза белоснежная — воспето, а все, что невзрачно,— ждет.

ЗА И ПРОТИВ

Любые книги о поэзии, о пристрастном ее прочтении, об уроках мастеров интересно читать еще и потому, что, сколь бы высоким авторитетом ни обладал автор, знакомство с его толкованием стихов то рождает сопереживание, то вызывает несогласие или даже резкое неприятие. Единственное исключение для меня — заметки Пушкина, критика, историка ли — неважно. Он убеждает даже в том, что виделось тебе по-иному. Это свойство гения — не просто логически убеждать, но внушать и приближать к прозрению. Впрочем, спустимся на грешную землю...

С большим интересом читал я книгу статей своеобразного поэта-мастера Николая Ушакова. Она и называется прямо — «Мастерская». Так вот, ни возраст, ни профессиональный опыт собеседника не может гарантировать эстетического или этического согласия. Ушаков пишет: «Нет слабости, которую поэт не сделал бы своей силой. Неграмотно: «Море любит солнце» — кто кого, но Северянин выходит из этого положения, подчеркивая ошибку.

Море любит солнце, солнце любит море...»

С этим тонким наблюдением я целиком согласен. Но поэт продолжает: «Точно так же мертвое и бриллиантовым взором обменяться успели...» становится живым у Сельвинского:

ваши глаза
Можно носить на пальцах».

Ну совершенно не согласен — до того эти очи-камни искусственны, мертвы, кощунственны, что я даже вздрогнул. Впрочем, отойдя от неприятных эмоций, можно объяснить вкус Ушакова, который в юные годы его формирования увлекался ложно понимаемым, сверхсмелым метафоризмом, ярким сторонником которого был и Сельвинский. В 1928 году поэт-конструктивист писал Багрицкому: «...Почему Вы не хотите быть конструктивистом? Это так легко и так нужно Вам. Запомните, Эдуард, что таинственной поэзии нет, а есть нераскрытая поэтика, т. е. тайна рецепта; тайна раскрыта — таинственность улетучивается». Характерное заблуждение для тех, кто конструирует жизнь, выстраивает судьбу, делает стихи. А таинственная поэзия — есть. Я бы даже сказал так: остается, пройдя испытание временем, только таинственная поэзия, которую нельзя объяснить, разъять, подделать. Она потому и остается, что сила воздействия ее непреодолима и ничем не заменима.

ЗАМЕТКА

Листал книгу Семена Кирсанова «Лирика», все думал о том, что никогда форма, словесные выкрутасы не заменят живого чувства, дарующего лирическое прозрение. Натолкнулся на стихотворение «Черновик»:

Это было написано начерно,
а потом уже переиначено
(пере-и, пере-на, пере-че, пере-но...) —
перечеркнуто и, как пятно сведено,
это было — как мучиться начато,
за мгновенье — как судорогой сведено,
а потом —
переписано заново, начисто
и к чему-то неглавному сведено.

Последние две строчки были аккуратно обведены на полях фигурной скобкой, а рядом твердо написано карандашом: «В этом — весь Кирсанов!»

Конечно, такой читатель слишком категоричен, не весь поэт — в этом формо-творчестве. Но порыв его я понимаю...

ЗВОНЫ НАЗВАНИЙ

Названия наших рек, городов, сел, урочищ завораживающе действуют на чуткого к слову человека. В них — история, привязка к месту, быт, но в них еще и легенда, поэзия, пусть не буквально смысловая, но освященная веками, бесчисленными повторами в контексте национального бытия. В народной песне поет-ся так:

Уж вы, братцы, господа,
Поедьте в города!
Кто поедет на Торжок,
Тот и сам скоро заржет;
Кто поедет на Волдай,
Тот и будет забулдай...
Уж как Рыбна-городок —
Тут и пристань хороша...
Пошехонье-городок —
Тут хорошенький торжок...
А Ростов-то городок —
Воевода без порток;
А как город Кострома —
Тут гульлива сторона.

В этой длинной песне подмечены какие-то характерные особенности каждого города, но многое идет от игры слов, погони за рифмой, которая становится прямо-таки содержательной. Это традиция нашей поэзии. И поэтому мне непонятны порой упреки тому или иному автору в «туристичности» его стихов, в стремлении зарифмовать как можно больше встретившихся названий. Всегда можно понять, что за этим — пустота или мировоззрение, черта поэтического характера. За строками Николая Клюева видятся грандиозные просторы, и сама развернутая метафора строится с учетом того, что читатель знает, чувствует масштабы встающего за названием:

Наша баница от Камы до Оки,
Горы с долами — тесовые полки,
Ковш узорчатый — озерышко Ильмень,
Святогору сладко париться не лень

Ничего себе озерышко! Но ведь это для Святогора — вот и образ богатыря обрисован.

В своей поэме «Сорок скверный год» Николай Глазков строит образ по-иному, но тоже используя известное название:

Отчасти сходна жизнь моя
С плывущей по воде иголкой.

И горькуировался я:
Эвакуированный в Горький.

В те же горькие годы войны Алексей Сурков, да и не один он — достаточно вспомнить стихи Сергея Наровчатова, построенные насквозь на славянских названиях: «Скажут Славия — слышу слава» — искал в древних могучих именах как бы подтверждения силы народов, временно покоренных фашизмом:

Курганами славы покрыта родная равнина.
И Днепр, и Морава, и Висла, и Волга-река.
Ты лжешь, чужеземец, что медленна кровь славянина,
Что в грозные годы душа славянина кротка.

Поэзия еще раз доказывает, что название — это не просто географическая привязка, почтовый адрес, а нематериальный памятник истории, культуры, и бездумно посягнуть на него — значит надругаться над памятью и патриотическим чувством народа.

С другой стороны, русский человек охотно воспринимал чужеродные древние названия первопоселенцев той или другой местности. И мой любимый Селигер, и национальная святыня Суздаль ныне звучат как непереводимые или труднопереводимые топонимы из угро-финских наречий. Но поэтический слух, обостренный любовью, уловит в этих родственных теперь названиях такие бездны смысла, что неясность происхождения только добавит им таинственности, но никак не затемнит звучания. Вот начало стихотворения Елены Благиной:

В звуке — СУЗДАЛЬ — узда и даль,
Удаль, ад, и лад, и слеза...
Темноликих спасов печаль
И заступниц кротких глаза.

Астафьев, прозаик, который очень хорошо чувствует и знает поэзию, заметил однажды, что для русского поэта характерно как бы думание звуком. Я давно убедился в правоте этих слов. Особенно «думающим», наполненным смыслом бывает созвучие в конце строки — удачная рифма, в нашем случае — рифма к тому или другому географическому названию:

Я видел Русь у берегов Камчатки,
Мне не забыть, наверно, никогда:
Холодным взмывом скал земля кончалась,
А дальше шла соленая вода.

Автор этих строк Виктор Боков одной рифмой рисует картину крайней восточной точки нашей земли. И когда он уезжает с моря туда, где ждет его подмосковная речка Воря, я вижу за этим не только полнозвучную рифму, но и природный контраст, тягу к менее величественному, но родному. А казалось бы, всего-навсего знакомые со школы названия...

НАДЕЖДА ЧЕРТОВА

МОЯ КСЕНИЯ

(Воспоминания о К. Некрасовой)

В середине пятидесятых годов, когда была создана или, точнее, воссоздана московская писательская организация и председателем ее стал К. А. Федин, а мы, четверо членов правления и рабочего президиума — Е. Долматовский, О. Писаржевский, Ю. Чепурин и я, — были избраны его заместителями, у меня произошло несколько неожиданных и, как мне тогда представлялось, совершенно случайных встреч с Ксенией Некрасовой.

С той поры прошло более тридцати лет, и встречи эти, казалось бы, могли выветриться из усталой памяти старого человека. Но — нет. Ксения, какую она бы-

ла в те годы, стоит и стоит у меня перед глазами. Старозаветные люди сказали бы: «Помину просит...» Не просит, а скорее требует, думалось мне. Время шло, и у меня в самом деле росло желание написать о Ксене как сумею, и уж не простое это было желание, а скорее чувство моего личного, неотложного долга перед Ксеной.

Разумеется, я не преувеличиваю своих возможностей. К племени критиков я не принадлежу, сама стихов никогда не сочиняла и лишь как читатель, если говорить о стихах современных, принимала их или не принимала. И все же решилась я написать о Ксене Некрасовой, о моей Ксене, какой осталась она у меня в памяти, — о мужественном, прекрасном, еще не совсем распознанном человеке и поэте, столь внезапно и столь крепко прильнувшем к моему не слишком податливому сердцу.

Но что же знала я тогда о Ксене Некрасовой? Почти ничего. Одинока, чудаковата, пишет стихи, печатается редко, живет где-то за городом. Не член Союза писателей.

Не член Союза писателей!

Здесь, вижу, необходимо сказать о том, что в рабочем составе президиума на мои плечи взвалили самую хлопотную, взрывоопасную работу по распределению жилищ среди писателей. В те годы массовое строительство жилья в Москве только еще начиналось, а небольшое количество квартир, выделяемых время от времени Моссоветом, распределялось в Союзе писателей аппаратным порядком. Словом, в наследство от СП СССР мы получили пятьсот неудовлетворенных заявлений на жилье. Среди заявителей были и покойные писатели. Я перечитала заявления, провела несколько людных приемов посетителей, собрала нашу жилищную комиссию, и тут только в полной мере дошло до меня, сколь нетерпимым было положение с жильем у многих и многих писателей: некоторые семьи надо было просто спасать. Положение усложнялось еще и тем, что решения нашей жилищной комиссии утверждались двумя инстанциями, Секретариатом СП СССР и районными жилищными комиссиями; осаждаемые сотнями и сотнями просителей, комиссии эти действовали лишь в полном согласии по строжайшим инструкциям и работали в общем по принципу «Москва слезам не верит»...

Словом, к тому дню и часу, когда Ксения Некрасова неожиданно появилась в нашей «замовской» комнате и, бегло поздоровавшись с моими товарищами — Олегом Писаржевским и Юлием Чепуриным, — направилась прямо к моему столу, я несколько опешила. Как настоящий жилищник, я прежде всего подумала о том, что решительно ничем не сумею помочь Ксене: то, что она не член СП, непреодолимо лишало нас даже самой возможности поднять вопрос о ее жилище. Догадаться же о ее полной бесприютности было куда как нетрудно!

Так и не преодолев невольной неловкости, я сгребла в кучу бумаги на столе, встала ей навстречу, спросила неуверенно:

— У вас дело ко мне, Ксения?

«Сейчас скажет о жилье, — думалось мне. — Что же ей ответить?»

Но я ошиблась.

— Поговорим немного? — ответила она вопросом.

— Конечно, поговорим, сегодня я свободна.

Я усадила Ксению, а сама выволокла кресло из-за своего служебного стола и уселась напротив. Она смиренно ждала, пока я закончу свои хлопоты. Краем глаза я увидела, как мои товарищи, переглянувшись, один за другим вышли из комнаты. Наверное, и они догадались о некоторой необычности этого свидания и не хотели мешать.

— Я прочту вам стихотворение о моем столе, хотите? — спросила Ксения своим тихим и таким обычным голосом, словно беседа наша продолжалась уже давно.

— Хочу, — ответила я не сразу. Стихов Ксении я, признаться, не знала почти совсем.

В полной тишине, окружавшей нас, Ксения сказала мне довольно длинное стихотворение «о своем столе»:

Мой стол,
мой нежный

деревянный друг,
все ты молчишь,
из года в год стоишь
в таинственном углу.
О чем молчишь?
Чьих рук тепло ты бережешь?
Раскрой дарохраненье лет!

И тут в ее ровном голосе, без признака обычных «взрыдываний» в конце строк, я вдруг различила нотки доверчивости, безобманной, по-ребячьи чистой, какой вроде бы еще и не могло возникнуть между нами. И необычность самого стихотворения, и теплые эти нотки невольно смутили меня, и я застыла в своем кресле, страшась обидеть или спугнуть Ксению лишним, суетливым движением.

— Молчание плывет в ответ,— сказала Ксения, словно бы немножко жалуясь и недоумевая. И с улыбкой, еле приметно тронувшей ее пухлые яркие губы, продолжала:

Лишь черт резной
на выгнутой ноге стола
скрипит:
— Ах, сердце человечье
так беспечно.
Вещь не доверит
таинства ему.
Предмета суть
есть совершенство мозга.

А сердце — сердце что ж —
цветок,
само взойдет,
само цветет,
само завянет и уйдет.
А вещь без старости жива,
и без младенчества ясна,
и не распрашивай стола,
коль ты поэт...

Между нами снова возникла тишина, но уже не простая она была, эта тишина,— исподволь меня начинало томить смутное волнение.

— А потом вот так я написала,— просто сказала Ксения.

Белые розы
увяли в стаканах,
лунные блики
лежат на столе.
И я, рукою касаясь резьбы,
говорю:
мой стол,
мой мудрый друг,
прости, пожалуйста, меня!

«...Мой мудрый друг, прости, пожалуйста, меня!» — едва не повторила я вслух. О, как далека я сейчас была от нашей служебной комнаты, от кипы бумаг, ждущих моего участия, от телефона, почему-то милоливо молчавшего! В чьем же неведомом мне мире жила я сейчас, по какой зем. е ходила?

А Ксения, словно ощутив некое таинство дружелюбия, возникшее между нами, одарила меня ясной, распахнутой улыбкой и, сложив руки на коленях, где уместилась у нее ситцевая хозяйственная сумочка, явно пустая, принялась рассказывать, как сегодня ранним утром ехала она в пригородном поезде в Москву. Вагон мягко покачивался, неся в себе деловито-молчаливых людей, скорее всего заводских рабочих. А рядом с вагоном, за окнами, торжествующе шагала весна.

— Еще, Ксения, если можно... прочтите,— услышала я свой голос, словно бы немного робкий.

Да, я сейчас хотела еще и еще услышать стихотворные строки Ксени, пока стояла между нами тишина, такая случайная, дарованная чуткой дружбой моих товарищей. Не молчи, Ксения!

— Хотите «Утренний этюд»? — спросила она, глядя на меня со спокойной улыбкой: значит, увидела или скорее ощутила, поняла мою робость. Сейчас она «правила» нашей беседой, она властвовала в ней...

Первая беседа наша с Ксенией оборвалась внезапно. В комнату вернулись мои коллеги, рабочий наш день, видно, закончился, люди расходились по домам, в коридоре стало шумно.

Ксения протянула мне руку совочком, я успела сказать ей: «Приходите еще», она ответила: «Я приду» — и быстро исчезла из комнаты, как будто здесь ее и не было.

Мне тоже следовало привести в порядок мой рабочий стол. Я сложила бумаги в папку, завязала шнуры и вдруг остановилась...

Мой стол,
мой нежный деревянный друг,—

сказала я вслух, и Олег Писаржевский тотчас же отозвался:

— Я знаю это стихотворение Некрасовой.— И, подумав, прибавил: — А никакого стола у нее нет. Да, наверное, и не было.

— Как не было? — удивилась я.

И Олег рассказал мне со слов его друзей-поэтов, что Ксения снимала где-то далеко от города не то тесную комнатушку, не то просто угол, где, кроме койки, вроде ничего и не стояло. А писала Ксения на доске, какую укладывала на коленях. В теплое же время устраивалась где-нибудь на полянке, на пенке, что был пошире, поровнее да покряжстее. Впрочем, верно ли это, Олег не ручался, в гостях у Ксении никто из рассказчиков не был...

Так началось мое трудное, медленное узнавание Ксении, ее жизни, ее судьбы. Я и сама старалась порасспросить о Ксении знакомых писателей, старых работников Союза писателей. И хотя случалось и так, что голова у меня пухла от противоречивых былей и небылиц, во мне самой крепло, росло изумление перед самой Ксенией и ее стихами. Она читала их наизусть, а то поглядывая в какой-нибудь листок из ученической тетради, читала своим спокойным, как бы обыденным голосом...

Я слушала ее, думала: может быть, и даже наверное, в основе Ксениного восприятия мира лежала кристально-чистая, безобманная, прекрасная детскость, с властной силой живущая в этой ведь уж не столь молодой женщине, за плечами у которой стоит — я уже знала об этом — и беспризорность неустроенной жизни, и трагедия погибшей любви, и трагедия материнства, закончившаяся потерей единственного ребенка, когда мать хоронит вместе с бездыханным дитем половину разбитого сердца и омраченную память свою...

И тут в моих поисках подлинной, не затуманенной никакими рассказами истории жизни Ксении Некрасовой мне неожиданно и щедро помогла Елена Ивановна Авксентьевская, недавно ушедшая от нас, старейшая работница нашей библиотеки, умный и преданный друг и помощник писателей.

Из письма Елены Ивановны, написанного уже дрожащей рукой пожилого и больного человека, мне стало известно, что Ксения приезжала из пригородного своего угла каждым ранним утром. Елена Ивановна, выполнявшая тогда, по собственному желанию увлеченного делом человека, самые разнообразные обязанности в библиотеке, тоже являлась сюда задолго до официального открытия. Ксения уже поджидала ее, они здоровались, и Ксения каждый раз спрашивала с робостью: «Не помешаю?» Елена Ивановна открывала ей читальную комнату, Ксения усаживалась за один из столиков и погружалась в работу.

Помещение самой библиотеки было тогда тесноватым, но Елена Ивановна ухитрилась на одном из стеллажей, вплотную забитых книгами, выделить местечко для Ксениных стихов, куда Ксения складывала свои исписанные листочки. Елена Ивановна писала мне: «Первую книжку ее стихов я сразу же купила для библиотеки. Но тех стихов, о которых вы написали мне, в первой книжке не было, это я твердо помню. Видимо, кто-то тщательно разобрался в Ксенином архиве и помог выпустить еще книжку. Если я доплетусь до библиотеки, обязательно возьму домой и прочитаю...» (Наверное, не успела она «доплестись до библиотеки», очень уж была беспомощна.)

А конец письма Елены Ивановны принес мне новость совершенно неожиданную: «А знаете ли вы,— писала она,— что у Ксении родился второй сыночек, Андрюша? Любиа она его безмерно. Но у Ксении ведь не было жилища, хоть сколь-нибудь подходящего, и, должно быть, кто-то помог ей устроить ребенка в ясли, кажется, в какой-то другой город. И только потом Андрюша был перевезен в Моск-

ву. Ребенок немного подрос, и Ксения иногда спрашивала для него книжку с картинками. Из библиотечного фонда я не могла выдать книжку и обычно по дороге на работу покупала для Андрюши книжечку понаряднее...»

Я перечитала несколько раз эти последние строки письма Елены Ивановны. Сынок Андрюша... Как давно это было! А ведь мне в наших долгих беседах Ксения не сказала ни единого словечка о своем живом, сущем сыне. Почему бы это? Неужели я не поняла бы ее?.. И вот, значит, Ксения дважды лишена была этого света материнства!

Должна признаться, что о Ксении писать трудно и даже страшно немного — не сказать бы не то слово, не обидеть бы память о ней, слишком много обид затаила она в своей душе и унесла с собою, незаслуженных, горьких обид, среди которых горчайшая — непризнание. Совсем не знала я тогда и слишком поздно узнала, что стихи Ксении переписал в свою тетрадь Алексей Николаевич Толстой, что поэтический талант Ксении высоко ценили Николай Асеев, Юрий Олеша, Михаил Михайлович Пришвин, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков...

И передо мною, ее читателем, Ксения предстала полностью, лишь когда я наконец взяла в руки ее посмертный сборничек «Мои стихи», заботливо составленный чутким ценителем ее поэзии Львом Рубинштейном.

И тут моя старая, но еще безотказная память подсказала мне: ошибаюсь я, о малыше Андрюше услышала я все-таки из уст самой Ксении. И это была самая трудная, даже мучительно-трудная для нас обеих и, кажется, одна из последних бесед перед нашей вечной разлукой.

Произошло это так.

Я сидела одна в нашей просторной комнате, когда дверь раскрылась и на пороге, как всегда, бесшумно возникла Ксения, в своем цветастеньком, знакомом мне платье, с пустой сумочкой в руках.

Она почему-то бросила опасливый взгляд на пустые столы моих коллег и только потом, явно торопясь, прошагала ко мне. Ксения не только торопилась, она, кажется, крайне была чем-то взволнована — на щеках у нее горели алые пятна, полуоткрытые губы пересохли.

— Вы устали, Ксения? — спросила я, усаживая Ксению на стул, и тут только разглядела немудрый цветочек из того же ситца, не то приколотый, не то пришитый на груди.

— Да,— ответила она, все еще не глядя на меня.

Мы обе помолчали, и я спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Да,— не сразу, отрывисто ответила она, трудно, почти со стоном вздохнула и подняла на меня свои темные глаза, полные такой муки, что меня словно ветром вынесло из-за стола, и я села напротив Ксении в привычной позе.

— Ну, Ксения?

И, не спуская с меня измученных глаз, непривычно заикаясь, ища слова, она почти бессвязно рассказала мне о своем малом Андрюше.

Ей разрешили сегодня прийти на свидание с сыном, она постаралась хоть немного принарядиться и после долгого ожидания в ясельном садике вошла в комнату к детям. Наверно, она немного растерялась, но сына все-таки нашла и узнала сразу... Вот тут все и случилось.

Малыш, оторванный от матери почти сразу же, когда мать и дитя как бы еще неотделимы друг от друга и живут как единое тело и единая душа, Ксений сынок не узнал матери. А когда она попыталась приласкать его, он протянул ручки к ясельной няне.

— Он не узнал меня,— тихо, почти шепотом повторила Ксения.— Там почти ни у кого из ребятшек нет матери... Некоторые ведь отказываются даже от новорожденных... Но я-то ведь есть, мой-то не сирота. Мне бы взять его к себе...

Она круто замолкла, словно натолкнувшись на препятствие, и снова оглянулась на пустые столы моих товарищей.

— Они ушли, вернутся не скоро,— сказала я Ксении и тоже замолкла.

Что же ей ответить? Передо мной вставали две непримиримые и непреодолимые противоположности: ее материнская любовь и нежность, сами по себе, казалось бы, сметавшие все препятствия. И — нужда, безгнездовье Ксении, ее оби-

ход бродячей одиночки. Что же делать? Ксения молчала, медленно, слабыми пальцами перебирала край своей сумочки. Она ждала.

— Ксения,— сказала я каким-то чужим голосом и откашлялась,— Ксения, давайте поведем материнский разговор. Не опасайтесь меня, я все понимаю. Давайте вместе подумаем, как это будет, если вы возьмете маленького.

Руки у нее замерзли, она подняла на меня отяжелевший взгляд. Что поделаешь, надо было решаться.

— Материнское дело очень счастливое, но и очень трудное. У вас нет надежной крыши над головой. Куда вы положите мальчика? Чем накормите? Как уедете от него, чтобы заработать для него же хоть немного денег!

— Да,— тихо откликнулась Ксения и покорно склонила голову.— Да.— Голова у нее опустилась совсем низко, и она пробормотала: — Я и сама так думаю. Да вот ничего с собой не могу поделать.

— Конечно, не можете.

Дверь в нашу комнату стремительно распахнулась, и, как всегда, в нее не вошел, а скорее ворвался Олег Писаржевский. «Я подумаю»,— шепнула мне Ксения, кивнула на прощанье и мгновенно исчезла.

Олег, милый торопыга, наш друг, мой друг, ныне покойный, обладал острым взглядом и сердцем, чутким к чужой беде. Он сразу, верно, учуял какую-то горькую нескладность в нашем разговоре с Ксенией. И как только закрылась дверь за нею, он подошел ко мне.

— Что-нибудь случилось? С Некрасовой?

Я ему коротенько рассказала о Ксениной беде. Он нахмурился, помолчал, я видела — соображает, прикидывает, чем можно помочь человеку, матери, поэту. Я ведь знала, что он ценил Ксению вопреки многим иным судьям по-настоящему, «гамбургскому» счету.

— Ну что же,— заключил он со своей легкой, обнадеживающей улыбкой.— Наша секция поэтов приняла Ксению в члены союза. Поспорили, правда, но приняли. Теперь только бы утвердили в большом союзе. Но решение, сами знаете, предугадать трудно.

Он был прав: что решит Секретариат? Не вступят ли в силу ходячие, зыбкие представления о Некрасовой? И печатают ее так редко, и странноватая она, как бы отдельная от всех...

Итак, Ксения ждала решения о своем приеме в Союз писателей. Она стала приходить ко мне или к нам реже, но свидания наши продолжались. И тут довелось мне понять, с каким скрытым, жарким волнением она ждала решения своей судьбы. Теперь я видела Ксению в клубе почти каждый день, пробовала позвать ее к нашему обеденному столу,— мне часто казалось, что она попросту голодна,— но всякий раз Ксения отказывалась легко, с ходу, со своей рассеянной улыбкой.

Но вот как-то, проходя по ресторану ЦДЛ, я увидела Ксению за столом, в небольшой компании поэтов. По-видимому, они или кто-то из них угощал Ксению обедом. Она неторопливо глотала суп, прямая, почти до неестественности серьезная. Жаркое с горькой картофеля стыло тут же,— очевидно, Ксене принесли весь обед сразу, и это — увы! — неоспоримо доказывало, по нынешнему выражению, в каком «непрестижном» положении состояла Ксения в нашем ресторане. Компания за столом была шумной, и, видно, некоторые шуточки направлялись прямо Ксене. Она продолжала обедать с видимым спокойствием, только на лице ее промелькивала легкая, почти кажущаяся улыбка. И насколько же она, молчаливая, полная достоинства, отличалась от своих болтливых собеседников! Но мне сразу же, болезненно подумалось: они-то здесь ведь хозяева, они ЧЛЕНЫ СОЮЗА. А Ксения всего только гостья, хотя и постоянная.

Да, несмотря ни на что, Ксения была постоянной посетительницей клуба, она как бы «лепилась» к союзу, как птица лепится к своему гнезду.

И, наверное, вопрос о приеме или неприеме ее в Союз писателей вызывал у нее куда более сложные, более мучительные раздумья, чем у ее товарищей, болтавших с нею за ресторанным столом.

Позднее эту мою догадку трижды подтвердили ее стихи.

Неизменно шла она и шла к Дому писателей, в особняк с колоннадой, воспетый еще Львом Толстым. Она и воспринимала этот дом сложно, многогранно и по-своему неповторимо. Тут было и нечто вроде преклонения, и чуткое ожидание — что-то дом этот скажет ей, Ксене Некрасовой? — и жертвенная готовность ждать, ждать и верить.

У нее и стихотворение есть «Дом Союза Писателей», начинавшееся пророческими — в отношении судьбы самой Ксении, — строками:

Нет к нему
ни дорог, ни шоссе...

И сама Ксения свято верила, ходила в Дом писателей, преодолевая столь естественный в женщине стыд за свои бедные одежды, терпеливо, с тайным волнением, огромность которого так нетрудно понять, ожидала, чем же ответит ей Союз писателей?

И дождалась: Союз писателей на ее заявление о членстве ответил отказом.

По долгу штатного сотрудника рабочей части президиума московской нашей организации я обязана была присутствовать на заседаниях Секретариата СП СССР, которому мы тогда были непосредственно подчинены. Теперь не помню, кто председательствовал — Фадеева не было.

Проголосовали с какой-то рассеянной поспешностью и перешли к другим вопросам. Я сидела ошеломленная. Ксения ждала за дверями зала, я ее видела, идя на заседание. Ни одного ее возможного защитника — ни Асеева, ни Светлова, ни Смелякова в зале не было. Я только подумала: сиди на своем обычном председательском месте А. А. Фадеева, с его тонким, умным, любовным пониманием поэзии, не допустил бы он такой поспешности...

И тут мне передали записку. Кто-то из наших замов, скорее всего Е. Долматовский, просил меня выйти и сказать Ксене о решении, не маять человека зря.

Это было тяжкое поручение. Расстояние в несколько шагов до дверей зала я преодолела на свинцовых ногах.

Ксения ожидала, стоя в двух шагах от дверей.

Я подошла к ней вплотную.

— Ксения... — тут я поперхнулась, голос у меня стал хриплым. — Вам отказали.

Она продолжала стоять молча. Яркий ее рот был полуоткрыт, словно от жажды, а в опущенных руках угадывалась беспомощность предельная, го-рестная.

— Да. Спасибо. — Она облизнула сухие губы. — Я пойду.

Медленно, тихонько она стала спускаться по мраморным ступеням, мимо скульптуры. А мне пришлось вернуться в зал. С трудом прослушав обсуждение наших московских вопросов, — к счастью, выступать мне не пришлось, — под шумок утомившихся заседателей я выбралась из зала.

Тревога за Ксению заставила меня заглянуть в служебные комнаты союза — может, Ксения все-таки не ушла? — потом я осмотрела, не доверяя своим близоруким глазам, сквер, поискала Ксению в ресторане, в гостиних клуба...

Уж не бросилась ли она, такая потрясенная, в свой загородный угол, «домой»? Но где же он, ее дом? И у сына ведь не было самого нужного, самого надежного и для него единственного на всем белом свете, материнского дома.

Где ты, Ксения?

Больше мы с нею не увиделись.

Елена Ивановна Авксентьевская в своем письме, в последних его, совсем уже неразборчивых строках, сообщила мне, что Ксене все-таки дали комнату, освободившуюся после переселения писателя. Но она, Ксения, не успела даже обжить этой комнаты и внезапно скончалась.

Ничего об этом я не знала. Мое трудное более чем трехлетнее занятие квартирами писателей не прошло даром — я надолго заболела.

И Ксения «вернулась» ко мне лишь в виде малого сборника «Мои стихи» с удивительно тонким и верно угаданным ее портретом, выполненным на обложке книги художником Фальком. Многие я узнала о Ксене из краткого, но дельного предисловия составителя сборника Л. Рубинштейна. И принялась перечитывать стихи, испытывая удивительное ощущение озарения. Многие из этих стихов она

мне читала, и знакомые строки словно высвечивались в моих глазах, вызывая боль о невозвратимой утрате.

Сборник Ксени открывал своим стихотворением Ярослав Смеляков. Суровый, талантливый, прямодушный и правдивый этот большой поэт писал так:

Что мне, красавицы, ваши тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье?
Ксения Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.
Как она бедно и неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом иль чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым, мятым цветком?
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной
вечно без денег она всухомятку жила...

Уже давно нет Некрасовой, проходят годы, десятилетия, но, кажется, все труднее, все невозможнее забыть Ксению в ее ситцевеньком платье, ее широко открытые глаза, не умевшие лгать, и — главное — ее стихи, оставшиеся с нами, живыми, и для тех, кто будет жить после нас. И никак не может такое случиться, чтобы не отозвалось на ее стихи сердце читателя — и молоденького, едва вкусившего от горького плода жизни, и зрелого, многое для себя решившего человека, и старца, умудренного и обученного жизнью, уже прожитой.

Мы-то, живые, хранящие в памяти живую Ксению Некрасову, отлично знаем, как она, сраженная горем непризнания или безвозвратной личной потерей, падала ниц и подымалась, прямо и твердо глядя в очи судьбе. Мы помним, как Ксения, принимая в редакции одного тонкого журнала свои отвергнутые стихи из рук поэта, ведущего там страницу поэзии, сказала тому поэту своим тихим голосом: «А все равно я пишу ведь лучше вас».

Где же тот тонкий журнальчик и где тот самонадеянный начальник над страницей поэзии?

Какою меркой можно измерить мир, богатый, пиршественный, пронзенный вечным торжеством света и солнца, каким владела бездомная, «жившая всухомятку» Ксения Некрасова? Этот ее мир безмерен. Отсюда ее прекрасная, ничем неколебимая гордость, и отсюда пристокает ее стихотворение «О себе»:

Я долго жить должна —
я часть Руси.
Ручьи сосновых смол —
в моей крови.
Пчелиной брагой из рожка
поили прадеды меня.
Подружки милых лет,
как оленята из тайги,
водили по лугам меня
неизъяснимой красоты.
И шелест буйных трав
мой возвышал язык.

У нас в юстях

Поэты Иркутска

ВИКТОР СОКОЛОВ

Родился в 1936 году в городе Мологе Читинской области. Работал на строительстве Иркутской и Братской ГЭС, в геологической экспедиции, на алюминиевом заводе, в Иркутском политехническом институте. Автор пяти поэтических сборников.

* * *

Когда мне никуда не деться
От шума грубого извне,
Я ухажу неспешно в детство
Тропой,
Известной только мне.
Она со временем заглохла —
Не враз покажется глазам.
И годы вытравили охру
Былых разъездовских
казарм.
И нет того,
И нет другого,
Что было в давние года,—
Такое сердцу дорогое
И что исчезло навсегда.
Одна железная дорога
Бежит все так же на восток.
И светофоры смотрят строго,
Скрывая радости восторг.
Они опять меня встречают,
Как в незабвенные те дни.
Они, как в детстве,
Привечают,
Включая маяки-огни.

И плеч не давит мне
котомка.
И веет свежестью с полей.
И я опять бреду в потемках
По шпалам памяти моей.

* * *

Отрыдали вьюги,
И влюбленно
Лебеди трубят
И вдаль зовут.
По ручьям
Сухие листья кленов,
Чуть качаясь,
Медленно плывут.

С каждым днем
Полоска снега уже.
И опять
В полях земли моей,
Ряской зарастая,
Пахнут лужи
Тайной
Неизведанных морей.

* * *

Станцию эту зовут Якурим.
Сядем. По-

курим. И по-
говорим.

Вспомним костры.

Пар

от курток

и кед.

Первые шпалы.

И первый пикет.

Так это было.

А может, не так.

Вспомним

Неистовство вьюжных атак.

Митинг по случаю.

Твердость в речах.

Белую соль на спине и плечах.

Все это солено солью крутой —

Рельсов бескрайность

Верста за верстой.

Бровки, откосы,

Кюветы, мосты,

Стрелки, сигналы,

Столбы, блокпосты.

Эта дорога от соли седа.

Нет, не напрасно пришли мы сюда.

Сами,

Обжившие холод и зной,

Стали по праву мы солью земной.

ЛЕОНИД ХРИЛЕВ

Родился в 1932 году. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт. Работал на строительстве Братской ГЭС. Автор трех поэтических книг. Живет и работает в Иркутске.

ГОЛОС МАТЕРИ

Солнце будит подсолнухи во поле,
в чаще выгнулась речка на камушках.

Вот и кони по лугу протопали,
грив шелка расстилая на травушках.
Над водою широкой и розовой
куст склонился, томится молчанием.
Только голос, как шелест березовый,
ближний лес наполняет звучанием
и такой доброю великою
наделяет простор —
плакать хочется...

Это мама бредет с земляникою
и не знает, что скоро все кончится.
— Оглянись! Там толпятся пожарища!
Пал отец со смертельною ранюю...
Если крикну, ты, мама, состарисься,
задымится рассвет над поляною.
Потому не кричу в даль зыбучую,
лишь смотрю в разнотравье заречное.

Голос птицей взлетает над кручею,
окрыленный желанною встречею —
нас зовет, а мы тут, за опушкою.
— Ребятишки, вы ягод попробуйте!..

Сколько выплакать слез нам отпущено!
Утопить бы беду в стылой проруби!
Вижу: туча свинцовая катится,
над страной,
над тобою сгущается.
Мама.. Мама..
Ты в ситцевом платье,
молча поле с тобою прощается.

Пусть то утро навеки останется,
где заря молодая полощется.
Ты уходишь, а голос все тянется,
как тропинка ко мне через рощицу.
Ты уходишь — такая красивая.
И косынку твою васильковую
различаю до первого взрыва я
в ту далекую пору суровую.

РАЗДУМЧИВАЯ ТИШИНА

Затопим печку
в зимний вечер у Байкала.
Дымок расправит ус
у скального отрога.
И та тревога,
что в дороге нас искала,
приляжет лайкой
у высокого порога.
И затрещат в огне
кедровые поленья,
и в дверцу полетят
горящие осколки.
И месяц,
выйдя за околицу селенья,
в тишайший час
зажжет звезду
на каждой елке.
Ночной тайги и неба
вечное дыханье
над всей Сибирью
половодьем разольется.
И, веришь ли, мой друг,
нежданное признание
тебе, как в молодости,
с губ моих сорвется.
А наш хозяин — сибиряк,
солдат бывалый,
к теплу притянет молча

жилистые руки,
припомнит поле,
на краю окопчик малый,
где душу грел
лишь уголечек самокрутки.
И, пулями пробитая,
кружилась вьюга:
где небо и земля —
попробуй разбери-ка!
Что слышит он?
Лишь посвист ветра?
Голос друга?
И снова годы
задыхаются от крика.
И нас с тобой
война пожаром опалила.
Рубцы на тех годах —
их время не разгладит...
Стучится веткою
замерзшая калина,
лишь дверь открой —
войдет в серебряном наряде.
А тишина бредет без троп
от дома к дому
и над калиною
снежинками порхает.
Ах, вечер, зимний вечер...
Мир всему живому!
Не печь гудит,
а время в сердце
полыхает.

РОСТИСЛАВ ФИЛИППОВ

Родился в 1937 году на Дальнем Востоке. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор нескольких поэтических сборников, вышедших в Иркутске и в Москве, в том числе книги «Выбор», выпущенной издательством «Современник».

А ЕСЛИ?

Под соснами гуляют дети,
чуть-чуть припухшие от сна.
Им озорное солнце светит.
А если все-таки
война?

Растет трава в окопах старых,
лежат в шкатулках ордена,
и пишет маршал мемуары.
А если все-таки война?

Газету свежую читаю.
Как ладно строится страна!

Как хорошо она мечтает!
А если все-таки война?

А если... Если боевую
тревогу нам труба сплет,—
благословляя и целуя,
Россия скажет: «Ваш черед!»

И если для поры военной
навяжет враг исходный срок,
я знаю, где он — тот священный
побед и мужества исток.

Еще хранит свои погоны
и носит на груди рубец
сапер ударных батальонов,
российский воин — мой отец.

Мы за Россию встанем грудью.
И завоюем времена,
когда не будут думать люди:
«А если все-таки война?»

* * *

Какое озеро! Веками
бесстрастно смотрит на снега.
Удар времен! — и скроют камни
его святые берега.
Не будет нас и наших сосен,
того лесного родника...
И там, на каменном откосе,
избы седого лесника.

* * *

В тихий омут поднебесный
Рухнет белая звезда.

В душе — ни грусти, ни укора.
Уже я праздновать готов,
что хлынут новые озера
в ладони пасмурных хребтов.
Но как природы сновиденые,
да будут помнить небеса
озера наши и рожденья,
любимых скорбные глаза...

* * *

Ружье оставлю. Выброшу патроны.
Войду неслышно в белую тайгу.
Там притаились молнии и громы
в цветных ручьях, в торжественном
снегу.

Раздвину ветки, уколую о сучья...
Как бог, свершая радостный обряд...
по облакам пройду я и по тучам,
которые весной легко вспарят.
И станет небо синим, а не серым,
и пронесется солнце колесом,
и хлынет дождь!

Он будет пахнуть зверем,
травой и стылой ягодой лесной...
Мы разожгли костер на берегу
и говорили о любви и славе.
Мы слушали вечернюю тайгу
и весла на далекой переправе.
Скучает мир по утренней звезде
и наши страхи тихо прогоняет,
я омываю руки в Ингоде.
Ладонь красна — костер не прогорает.

ВЛАДИМИР СКИФ

Родился в 1945 году в Иркутской области. Окончил Тулунское педагогическое училище и Иркутский государственный университет имени А. А. Жданова. Автор двух книг стихотворений — «Зимняя мозаика» и «Журавлиная азбука».

Круг стальной, потом железный
Взыбит сонная вода.
И пойдет, пойдет кругами
Бездны омут ледяной.

И дом и сад содержим в запустенье
Среди других неведомых лачуг,
Где привечают ломкие растенья
Кочующих зимующих пичуг.

И больно в этот миг не потому ли,
Что в темень — уголек за угольком —
Российские деревни потонули,
Как в зоне затопленья — целиком.

И не спасти высокого доверья
Зверей и птиц, речушек и цветов,
Где догнивают жизнь свою деревья
На море Братском в связках из плотов.

С печалью в небо поднимаем лица,
Где на последнем умершем створе

Еще поют зимующие птицы,
Но тени их исчезли на земле.

К ТЕБЕ

Душа к тебе летела птицей,
Знобила полночь,
жгла трава.
А ты в окне вязальной спицей
Чертила странные слова.

В том месте сумерки дробились,
Окно позванивало чуть.
И там, где нервно
пальцы бились,
Там начинался Млечный Путь.

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Родился в 1947 году. Живет и работает в Иркутске. Стихи публиковались в центральной и областной прессе, в коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Уроки доброты» и «Есть у меня на свете брат».

* * *

Доживаю последние дни
Этой осени празднично-ясной,
Словно мучаюсь болью прекрасной
Безответной любви.

— Не гони!

Дай побыть возле рухнувших стен
Птичьих замков, звериных поместий.
Не боюсь леденящих известий
И не жду роковых перемен.

В жизни скудной я не был завистлив,
Все на свете покорно любя,
Но завидую лодочкам листьев,
Что плывут в двух шагах от тебя...

Нет осенней поры благодатней!
С каждой болью все радостней жить,
С каждой болью ясней и понятней,
Чем терзаться и чем дорожить...

ДЕТСТВО

Качелям — качаться,
Каруселям — кружиться, вертеться.
Мне — всю жизнь возвращаться
В Усолье,
В провинцию,
В детство.

Старый город поблек,
Но прекрасен в наивной гордыне.
Зарастают проулки
Кустами высокой полыни.

Стали ниже заборы,
Запущенной парки и скверы.
Выцвел сказочный терем,
Сколоченный из фанеры,—

А когда-то он был
Золотым, изумрудным, хрустальным...

Возвращение в детство
Всегда ли бывает печальным?

А веселая эта,
Беспечная эта свобода
Плывать целыми днями, в озерах
У стен сользавода?

А на лыжах с горы,
Как бросался мальчишка когда-то,—
Глянешь вниз —
И душа обомрет...

* * *

Проснуться и услышать гром,
Заснуть и в неотступном сне
Вернуться в материнский дом,
Узнать герани на окне.

О, первобытный детский страх
Бродить по комнатам впотьмах!..
«Где мама, где сестра, где брат?
В чем я пред ними виноват?»

Под дверью длинный узкий свет,
Но никого за дверью нет,
Лишь ослепила после сна
Окна густая белизна.

Иду неслышно босиком
Туда, где слышен птичий зов...

* * *

Гнездо разорено, и мертвые птенцы
Разбросаны вокруг угрюмым человеком.
А птицы все кричат, снуют во все концы
Над бедными детьми и над железным веком.

Сплошной стеной стоят просторные леса,
Во влажной глубине неспешно зреет лето.
И жалко и смешно взывают голоса —
Не совесть ли кричит и требует ответа?

Как тянет древним холодком
От свежевымытых полов!

* * *

Сонно ветви шевелятся,
И в качающихся кронах
Тайны древние таятся
И движенья рук влюбленных.

Замирает к непогоде
Птиц беспечное порханье,
И туманит лик природе
Мрачное воспоминанье.

К непогоде сердце ноет,
Словно рана, заживая.
И беззлобно тихо воет
Милый пес — душа живая...

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Здесь память, как озноб, идет
по спине/
И звон мечей не молкнет над полями.
Неужто на родной земле расти нам
Родства не помнящими сыновьями?

И наплывают сумерки сурово,
И молчаливо требуют ответа
Распаханное поле Куликово,
Безвестная могила Пересвета...

* * *

О Родине думай чаще,
Чтоб чище душа была,
Чтоб воля в крови звучащей

До смерти не умерла,
Чтоб силу твою питали
Святые силы земли,
Чтоб ноги в землю вращали,
Чтоб крылья в небо росли.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Родился в 1947 году в селе Октябрьском Челябинской области. Служил в рядах Советской Армии. Окончил Иркутский политехнический институт. Живет в Братске. Работает начальником смены на заводе отопительного оборудования. Заочно учится в Литературном институте имени А. М. Горького. Автор поэтического сборника «Я всегда удивляться буду», вышедшего в кассете «Бригада» в Восточно-Сибирском книжном издательстве.

Стихи печатались в журнале «Студенческий меридиан», в альманахах «Истоки» и «Сибирь», в коллективных сборниках «Байкальский меридиан», «Мы — братчане».

МЕСЯЦ

Кто там аукнул в таежной тиши?..
Зимние тропы глухи.
Месяц в сторожке огонь потушил,
Иней осыпал с ольхи.
Словно стрелец, застувивший в дозор,
Молча обходит тайгу,
Ярко горит его острый топор —
Отблеск на стылом снегу...
Ну а когда прокричат петухи,
Высветят зори узор,—
Месяц в сугробе у старой ольхи
На день запрячет топор.

ДЕРЕВЯННЫЙ РАССВЕТ

Еще звезды не все погасли.
Зори тихо за лесом спят.
Дремлет сумрак над старым прясом
И над играми жеребят...
Спят натруженные дороги.
Спит деревня, устав от забот.
Полуночица-выпь в тревоге
Хрипло вскрикнет и обомрет...
Пахнет клевером, спелой вишней.
Тишь рассветная хороша.

В час такой на озерах слышно —
Карпы плещутся в камышах.
...А петух и сквозь дрему слышит —
Подступает зари огонь.
Встрепенется, взлетит на крышу
И — растянет свою гармонию.

СУХОВЕЙ

Хоть бы ливни сюда завернули:
До чего ж изнурителен зной!
Терпко пахнет польниью в июле
И уставшей от жажды землей.
В час такой лишь мальчишкам
вольготно:
Знай на лодках себе парусят...
Где же туч дождевые полотна
По неделям без дела висят?
Суховей, прошумев над Запрудным,
На полях опалил колоски.
Трудно нынче земле. Очень трудно!..
Да и нам нелегко, мужики!

* * *

Вновь тучи серыми полотнами
Висят уныло в небесах.

Еще метелям стыть под окнами
И солнцу прятаться в лесах.
Еще в дремучести валежника

Снегам не угрожает зной.
...Глаза твои, как два подснежника,
Уже распахнуты весной.

ФРАГМЕНТ ИЗ СОВРЕМЕННОЙ СКАЗКИ

Стоят поруганные рощи.
Не веселит их птичий хор.
Где лес шумел в зеленой мощи,
Теперь хозяин здесь топор...
Пойдет направо — смерть деляне,
Налево — глянть, и там пустырь!
Как будто инопоселяне
Пришли хозяйничать в Сибирь.
...К природе с первых дней доныне,
Затеяв в ней беспечный пир,
Черствее стали мы в гордыне,
Пытаясь переделать мир.

* * *

Нам мир крепить на доброте сердечной —
Извечной злобе черной вопреки.
Пора войну похоронить навечно
И дружбой все сроднить материки!
И пусть друг к другу люди ездят в гости.
...Расти, планета, добрых сыновей!
Чтоб никогда на ядерном погосте
Смерть не блеснула молнией своей!

ВАСИЛИЙ ХЛЫБОВ

Родился в 1951 году в поселке Каркалай в Удмуртии. Окончил Московский геологоразведочный институт. В настоящее время работает геологом в Иркутске. Участник, лауреат X областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Печатался в областных газетах.

ВМЕСТО ПИСЬМА

Тени веселых листьев
на белом листе бумаги
заятели чехарду.

Лето.
Я вам сказать пытался
в прошлом письме о счастье —
лучше бы я молчал.
Слово сказал и маюсь,

вот она, осторожность
у современной дружбы.
Лучше б зеленый листик —
этакое сердечко —
вместо письма послал.
Знайте, что
между весной и летом,
густо объятый пылью,
наш грузовик промчался.
Бросаю рюкзак на плечи.
Плечи немного тянет,
сердцу зато легко.
Линия моей жизни —
дорога. И это правда,

голая, как ладонь.
Вот вам мой взмах руки!

ЧИТАЯ ЧОН ЧХОЛЯ

Переворачиваю страницу,
слышу женские голоса:
«Плакать не надо...
Лучше пролейся над ним дождем».
На фоне ночи два качающихся лица.
Я сижу у стены в углу,
а дождь за дверью не кончается
уже тысячу лет.

* * *

Да, мне нравится ваше умение вскакивать
и, шинкуя ладонью воздух,
говорить, говорить, говорить.
Точно так же, как ваше умение слушать:
останавливать резко зрочки
и губами жевать прилетевшее слово.
Мне вспоминаются горные реки,
когда вы делаете поворот головы.

АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

Живет и работает в Ангарске Иркутской области. Стихи публиковались в центральных газетах, журналах и альманахах.

ПОСТОЯНСТВО

Все на свете остается.
Ты уйдешь, но не уйдут
ни деревья, ни колодцы,
что во тьме тебя найдут.
Ты и мнишь себя счастливым
оттого,
что все твое
остается:
и крапива,
и ожоги от нее.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛОГИКЕ

Чем дольше жизнь, тем логике
трудней:
и темный лес,
укрывший журавлей,
и горький ветер,
принесший из полей
осколки звезд —
вне логики моей.
Как просто ей —
над кульманом вздохнет,
под черепицей молотом взмахнет —

один корабль к рептилиям уйдет,
другой корабль у облака всплывет...

Но прежде их, вне правил чертежа,
бия крылом и жабрами дыша,
там ставила стожильная душа
полет без молота
и мачту без ножа;

там выкована первая строка,
нацеленная в сердце старика...

О логика, фонарик засвети —
нам не туда, нам поле перейти...

* * *

Мне захотелось жить
неторопливо,
беседуя с любой тишиной

на краешке байкальского залива,
укрытого неспешною волной.

Мне захотелось просыпаться рано —
не раньше птиц,
но прежде, чем поля
стряхнут росу, проступят из тумана
и превратятся в жаркого шмеля...

Я видел дом, увитый голубьями,
я видел холм, баюкавший тайгу,
и девочку с чернильными губами —
на улице,
потом — на берегу,

потом — в воде...

И не понять, откуда
пришло желанье письма ей писать
про то, что стар, о том, что не забуду..
Как будто есть о чем не забывать...

ЕВГЕНИЙ ВАРЛАМОВ

Живет и работает в Иркутске. Стихи печатались в областных газетах и журналах, в коллективных сборниках. В альманахе публикуется впервые.

* * *

Небо плачется. Лето прячется.
И беда — не вода в горсти.
Что пророчишь, моя пророчица?
Спой мне песенку. Погрусти.

Листья павшие — что опасного?
Лета бабьего подожди.
Если буду ему я пасынком,
то не падчерицею — ты.

Пой мне песенку, пой,
пожалуйста
(у печали мотив простой),

на судьбу на свою
пожалуйста,
что иду по ней бороздой.

Потечет ручей, станет речкою,
и волна в реке солона.
На певучем своем наречии
плачи выплесни мне сполна.

Пусть на беды рукой
не машется,
когда лето желтей, желтей..
Ты люби меня, если
можется.
Пой мне песенку. Не желей!

О серьезных проблемах эпохи,
О тяжелом наследии тьмы.
Если где-то кому-нибудь плохо,
Не земля виновата, а мы.

Значит, мало любви на планете.
Значит, время ненужной вражды
Отзывается болью в поэте,
Как предчувствие страшной беды.

ИВАН КОЗЛОВ

Родился в Иркутске в 1938 году. Опубликовал несколько книг по истории Сибири: «В гостях у декабристов», «Литературные памятники Иркутска», «Колокола не умолкают».

Стихи публиковались в журналах и коллективных сборниках.

Живет в Иркутске.

* * *

А жизнь еще бывает хороша,
когда в ответ
на долгое молчанье,
как первый снег,
легко, почти случайно,
вдруг нежностью засветится душа.
В аллеях станет тихо и светло,
и губ неуловимый отпечаток
оставит неизбывное тепло
на тонкой коже
маленьких перчаток...

и нашу осень
в Чебагорах.

Не вспоминай,
не вороши
опавших слов холодный ворох,
пусть листопад моей души
умрет бесшумно
в Чебагорах.

Прости,
что не схожу с ума
и в прошлом не ищу опоры —
весь вечер падает зима
на плечи мне
и в Чебагоры.

Идут снега.

Зима грядет.
Совсем недолги будут сборы.
Давай-ка лыжи
и вперед.
И до свиданья,
Чебагоры.

* * *

Грядет зима.
Идут снега.
Они крадут без долгих споров
у рек таежных берега

* * *

Люблю я трав нечесанные гривы,
когда желтеет первая листва
и первой зяби черные разливы
березовые топят острова.

Люблю неспешной осени салют,
когда янтарный дождь летит в ладони,
когда комбайны — огненные кони,
пшеницу золотистую жуют.

Люблю бродить за дальнею околицей,
когда смолкают лета голоса,
когда стоят, пронизанные солнцем,
задумчивые светлые леса.

Люблю недвижность долгого рассвета,
что грустью неизбывною одет,
похож на молодящееся лето
и молодость,
которой сорок лет.

АЛЕКСАНДР КАЛУЖСКИЙ

Родился в 1958 году на Чукотке. Окончил институт иностранных языков. Печатался в альманахе «Сибирь». Участник X областной конференции молодых авторов. Работает в Иркутске.

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Закатывались капли под траву,
земля пьянила прелую
истомой.
За избами, в заброшенном хлеву,
шуршал сквозняк невидимой
соломой.
С висячего замшелого замка
на темный тес текло струею рыжей,
а дождь небесной радостью сверкал,
спеша проникнуть в трещины
на крыше.
Порой сквозняк переставал скрести,
и только доски издавали стоны —
как будто кто и вправду взаперти
томился и постанывал
спросонок...

ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ

Далеко за морем мой народ.
Я один среди камней и льда.
Я слежу, как отступает лед,
Как родится добрая вода.
Все трудней взбираться на скалу,
Сбрасывать тяжелые стволы,
Отгребать шипящую золу —
Белый лед чернеет от золы.
Черный лед сольется с тьмой, уйдет.
Валуны с рассветом полыхнут.
И развеет ветер в свой черед
Легким пеплом мой нелегкий труд.
Оглянусь на камни за спиной.
Помолюсь на камень огневой,
Чтоб светил за морем для него,
Как сейчас пылает надо мной.

БОРИС АРХИПКИН

Живет и работает в Иркутске. Стихи печатались в областных газетах, журналах и коллективных сборниках.

* * *

Молчат незаведенные часы,
но время все же движется упрямо.
Сегодня — день рождения весны.
Сегодня — день рождения Сарьяна.

И воробьи разучивают смех
на перевернутой ладони крыши...
Сегодня — день рождения у всех.
И только снег не празднует.
Он лишний.

* * *

Я тебе не звоню —
Самоцель,
блоровство...
Вижу дерева ствол.
Тихо песню пою.
Телефонная нить
Пробивает броню...
Но опять
не звоню.
И не нужно звонить.

Родилась в 1949 году в Иркутске, стихи публиковались в газетах, альманахе «Сибирь». Автор книги стихов. Живет в Иркутске.

* * *

Я никогда
не возвращаюсь в прошлое.
Ошибки были
и, конечно, будут.
Была хорошей,
стала нехорошою —
грехов хватила,
как зимой простуду.
И нет реки,
чтоб смыла покаяние,
и нет руки —
погладить по плечу...
Так в пропасть жизни,
в доброе сияние
с моей простудой,
как в тепло, лечу.

* * *

Чай из кедровых орехов,
суп из корней лесных,
и на привале утеха —
шепот полночной сосны.
Смех долгожданной удачи,
взгляда любимый родник...
Был ли ты счастлив иначе,
мой молчаливый двойник?
Знаешь, нас ждут, как вначале,
дней молодых кутежи —
в наилегчайшей печали.
Ты мне о них расскажи!
Сделаем в книге закладку
там, где пьянит до утра
так безоглядно и сладко
чистая горечь костра.

ПРИТЯЖЕНЬЕ ЗВЕЗДЫ

Не прохожий я здесь, на Земле, и не гость,
я — беглец из межзвездных миров,
и алмазной пылью окольцована трость,
указавшая путь мне и кров.

Челобитной тоской исцарапанный лоб,
удлинились ресницы от слез,
современным узором расшитый салоп
давит на плечи, словно утес.

Ах, зачем этот зов искривленных пространств,
притяжение звезды голубой!
Никогда, никогда не очнуться от ран,
нанесенных земною судьбой.

Без легенды и славы, без памятных дел,
без начала и, зная, без конца —
никогда, никогда этот скорбный предел
не осилит душа беглеца!

Родилась в Иркутске в 1953 году. Окончила Ульяновский политехнический институт. Работает по обслуживанию электронной техники.

* * *

Зеленая и тоненькая ветка
На яблоньке надломлена вчера
Грозю черной. Возится соседка
С простою веткой с самого утра.

То ниточкой к стволу ее подвяжет
И глиною замажет ей бока,

То смочит бинт и снова перевяжет,
Чтобы жила, жила наверняка.

Чтоб хлынули по ветке с новой силой
Как кровь, живые соки от корней,
И листики ожив, на ветке хилой
Ожив, открылись солнцу
поскорей...

* * *

На улице тихой есть старенький дом.
Табличка висит на заборе: «На слом».
Стоит с перекошенным дряхлым крыльцом.
О чем же он думает перед концом?
Распахнуты окна и двери все — настужь.
Как тихо! Давно ли ютилось в нем счастье?
Все выдержав: бури, морозы и зной —
Давно ль был красивый и молодой?
Давно ль половицы скрипели от пляски
И старость, казалось, живет только в сказке?
Горели поленья в ночи до утра...
Давно ль это было? Как будто вчера.

ОСЕНЬ

Слышишь ты, как ветер лист колышет,
Желтой бахромою окаймленный,
Словно мед из ложки осень лижет
Языком холодным цвет зеленый.

Ты не плачь, никто не успокоит.
Забирай, что есть, в свое лукошко.
Посмотри, рябины гроздь что стоит —
Осени рубиновая брошка.

К рыжей круговерти листопада
Никому нельзя быть равнодушным.
Это осень, и грустить не надо.
Улыбнись светло и добродушно.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

Облетев весь Север и Камчатку,
Осветив огнями небосвод,
Самолет заходит на посадку.
Делает последний разворот.

К нулевой отметке на приборе
Подбегает стрелка высоты.
Вот и все. Она уже в покое.
И шасси коснулись полосы.

Слышится, еще гудят турбины.
И пилот, со лба стирая пот,
Медленно выходит из кабины,
Завершив последний свой полет.

* * *

Неоспоримо коротки
Года живые, человечьи,
Так и тепло моей руки
Не будет в мире этом вечным.
Мне не согреть холодный снег,

Бурь не сдержать, и то — простимо,
Но где-то рядом человек,
Кому тепло необходимо.
Костер души сгорит дотла,
И вечность сердца жар остудит.
Спешу хоть часть его тепла
Оставить людям...

Поэты Пензы

АЛЕКСАНДР САЗОНОВ

Родился в 1932 году в городе Нижнем Ломове Пензенской области. По образованию — педагог, по профессии — журналист. Член Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР. Автор шести поэтических сборников. Печатался также в журналах «Звезда», «Работница», «Советский воин», «Север», «Волга», «Дон», в газетах «Правда», «Советская Россия» и других. Работает заместителем ответственного секретаря газеты «Пензенская правда».

* * *

Сыну Олегу,
офицеру Советской Армии

Войны последняя поверка...
Отлютовал свое свиноец...
Под рваным небом Кенигсберга
Победу встретил мой отец.

В пыли,
пожарах,
дыме синем
Был город будто неживой...
Опорой для рывка в Россию
Тевтонцы строили его.
Отсюда столько нам грозили
Они столетия подряд,
Да покорились
русской силе
И этот чванный рыцарь-град.

...Прошли года.
В их мирном шуме
Вершились мирные труды...
Отца добила рана —
Умер.
А у меня виски седы.

Зато в могуществе и силе
Страна прибавила стократ.
А на окраине России
Раскинулся Калининград.
Живет особенная мерка
Его свершений и идей.
Он встал на месте Кенигсберга,
Но встал

для мира и людей!
А мне — тревога
и награда,

А мне
и то волнует грудь,
Что на земле Калининграда
И сын армейский начал путь.
Видать, судьба прошла по кругу
И завершила оборот:
Дед
отстоял свободу внуку,
А внук свободу
бережет.

Уже нас сделали родными
Не только кровь,
А цель и пост.
А что же я? —
Я мост меж ними,
И вроде бы надежный
мост.

* * *

Перестань ты, чайка, виться,
Дура-чайка, не кричи.
Ты диковинная птица,
Но милей дергач в ночи.

Как представляю лес, да поле,
Да в степи забытый стог,
В горле встанет поневоле
Непроглоченный комок.

И когда б меня спросили:
Ну-ка, парень, подытожь,
Как сейчас ты, сын России,
Ныне на море живешь?

Я б сказал:
— Была охота
Тут пожить остаток дней.
Но «родимое болото»
Моря Черного родней!

ГЕОРГИЙ КРЫЛОВ

Родился в 1925 году в деревне Слуде Чухломского района Костромской области. В детстве переехал с семьей в Ленинград. Учился в школе, потом работал столяром. Пережил трудное время ленинградской блокады. Девять лет служил в рядах Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны. Был политработником, работал в армейских газетах, после службы в армии — в областной газете «Пензенская правда». Член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Автор трех сборников стихов.

МЫ ТЕРЯЕМ ДРУЗЕЙ

*Пятнадцать лет в нем пуля
остывала.
Пятнадцать лет не знал он,
что убит.*

Исай Тобольский

Сколько б лет ни прошло,
Не забыть нам былого.
Пушки старые сдали
Мы нынче в музей.
Но мы слышим, как бьет
Артиллерия снова,
Выбивая из строя,
Из жизни друзей.
Бьет на выбор,
Хоть знаем, не громом орудий,
А весенней грозой
Мир наполнен сейчас.
На бегу, как в сражении,
Падают люди
И, не в силах подняться,
Уходят от нас.
Фронтные давно
Не идут похоронки.

Мы теперь телеграммы,
Как память, храним.
Под шопеновский марш
Зарываем воронки,
Над могилами
В скорбном молчании стоим.
Поседевшие головы
Клоним устало.
Тут не можем мы
Горя сдержать своего.
Кто-то вымолвит вдруг,
Что на кладбище стало
Уже больше, чем в жизни,
Друзей у него.
А за нашей спиной
Вновь гремит канонада.
Чей-то час наступил.
Чьей-то жизни конец.
Мы теряем друзей
Не от взрывов снарядов,—
От разрыва их
Все переживших сердец.
Нам на милость судьбы
Непривычно сдаваться.
Продолжаем свой бой,

Жизнь любя и цена.
А снаряды все гуще,
Все ближе ложатся,
И какой-то из них,
Может, ищет меня.

ЛЬДИНКА

С морозной зимою весна поединка
Еще не закончила. Снова был бой.
И вот на дороге граненая льдинка
Под солнцем сверкает своей чистотой.
В нее, словно в сказке, где быть есть
и небыль,
Волшебное царство вместиться смогло,
И даже холодное, хрупкое небо
На грани ее отдохнуть прилегло.
Ведь можно случайно подошвой
ботинка
В дорогу втоптать этот чистый
хрусталь.

А я все стою и люблюсь льдинкой —
Кусочек неба разбить мне жаль.

ЛЕТО

Здесь каждый листочек струною звенит.
Здесь все так торжественно и величаво.
На цыпочки встав, к солнцу тянутся
травы,
И сосны, как выстрелы, рвутся в зенит.
Лесная симфония. Нет, не обман.
В ветвях захмелевший запутался ветер.
И зайчики солнца резвятся, как дети
На маленьких блюдцах цветочных
полян.
Поет каждый кустик. Поет каждый
ствол.
И с нежною песней, еще не допетою,
Березкою белой проходит здесь лето,
Набрав земляники в зеленый подол.

ДИНА ЗЛОБИНА

Родилась в 1936 году в селе Чернозерье Пензенской области. После средней школы поступила в техническое училище в Калаче-на-Дону. Работала токарем по металлу на заводе «Баррикады» в Волгограде. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

В издательствах Москвы и в Приволжском книжном издательстве выпустила несколько стихотворных сборников: «Весны», «Качели», «Минерал», «Быстрина», «Чернозерье», «Возвращаются ветры», «Пойдешь ли со мной в дорогу!», «За первой избой».

Член Союза писателей.

ЗИМНИЙ ДОЖДИК

Зимний дождик гонит снег по крыше,
А на речке шумный ледоход.
Мы в дневник событие запишем,
Мы запомним этот странный год!
В непривычной засухе все лето
Безнадежно мучились поля,
И, в пушистый ранний снег одета,
Шла к зиме заснувшая земля.
Только часто курс ветров менялся,
Как-то ночью принеслось тепло!

И ручей через сугроб прорвался,
Дождь пошел, и с крыши потекло.
А старушки ждали стужи дикой,
Но сейчас приметы —
пустяки!

Может, в феврале за земляницей
Мы пойдем, доставши кузовки!
И грибные рощи в марте
здешнем
Лишь внесут смущенье в календарь,
А пока что с настроеньем вешним
У ручьев спешим встречать январь!

* * *

На берегах, заросших тмином,
Пустырником и лебедой,
Играли в детстве мы.

Нас глиной

Снабжала речка и водой.
Лепили мы чертей веселых,
Бросали в речку лопухи,
И дотемна в окрестных селах
Кричали дружно петухи.

По речке плыл туман ленивый
Навстречу молодой луне,
Жила русалочка под ивой
В заветной темной глубине.
Как замирали наши души,
Как плеск воды пугал детей,
И все ж хотелось нам послушать
Русалки речь из-за ветвей!
Качались стебельки пырея,
Рыбешки прыгали, светясь.
— Эй, детвора, домой скорее! —
Кричали взрослые, сердясь.
Речные берега пустыли,
Мерцала черная вода...
В избушках теплые постели
Соломой пахли, как всегда.
Хранились здесь стручки гороха —
Мы ели молча ужин свой,
И чудилось, на печке охал

Дремучий грозный домовой!
А ночь дышала нам в ресницы
Густым дурманом сладких трав...
Встречали нас поутру птицы
Среди родных грибных дубрав.
Летели пчелы с летним медом,
И так беспечно стрекотал
Кузнечик, что из детства родом,
Тот, что в пути от нас отстал!

* * *

Вчера октябрь гулял по склону,
И слышался разбойный свист.
И не сказали ветры клену,
Зачем срывают желтый лист.

А ныне в роще голо, пусто,
Как будто вырос мир чужой
Из тишины, печали, хруста.
Но неразлучен свет с душой!

Я черпала его в июле
Из колокольчиков лесных,
Чтоб не сломали, не согнули
Событья будней скоростных.

Ромашек свет — моя защита
От всех напастей в трудный час...
Кружись, осенняя орбита,
Есть у меня лучей запас!

ОЛЕГ САВИН

Родился в 1933 году в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области. Окончил историко-филологический факультет Пензенского пединститута. Работал в «Пензенской правде», на студии телевидения. Автор поэтических сборников «Костер», «Рябина», книг «Пенза литературная», «Ленин и Пензенский край», «Живая память» и других. Член Союза писателей СССР. Кандидат филологических наук.

РЕКА

Одна — из легенд выбегает.
Другая — из лозняка.
Самая дорогая
У каждого есть река.

Из близка ли,

из далека,

Вернувшись в отцовский дом,
Отыщешь ее истоки
Рядом — в детстве своем.
Бьется она — седая.

Стоит давно Тамбовская застава —
Живое продолженье старины.

НАСЛЕДНИК

Недюж и ростом невысок
Веснушчатый солдат.
Припухлость губ, румянец щек,
Шинель почти до пят.
Стоит с мороженым в руке,
В фуражке, в сапогах.
От папы с мамой вдалеке,
От детства — в двух шагах.
Он в увольнение в первый раз,
Нетрудно угадать,—
Сиянья радужного глаз,
Восторга не унять.
Парнишка несказанно рад
Дыханию весны...
А я вдруг вспомнил тех ребят,
Что не пришли с войны.
Они, ровесники его,
В земле лежат давно,
Им восемнадцать лет всего —

Стареть не суждено.
Остались имена ребят
На мраморной доске.
За павших всех живет солдат
С мороженым в руке.

ВСЕГДА СОЛДАТ

Годов течение неизбежно,
Но иногда бывает день —
Чертовски хочется, как прежде,
Шинель солдатскую надеть,
Чтоб ярче солнечного света
Горела пряжка у ремня,
Чтоб малыши бежали следом,
Глаза тараща на меня,
Чтоб генералу в тихом сквере
Откозырять я снова мог,
Чтоб чья-то мать, глазам не веря,
Едва не крикнула:

— Сынок!..—

Чтобы по первому сигналу
Походной боевой трубы
В строй возвратиться, как бывало,
Готовым к трудностям любим.

НИКОЛАЙ КУЛЕНКО

Родился в 1936 году на Украине. Учился в сельской школе, ремесленном училище металлургов, служил в рядах Советской Армии. Около двадцати лет работал на заводе литейщиком. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Печатался в журналах «Волга», «Донбасс», «Молодая гвардия». Автор сборников стихов «Рубеж», «Первосвет», «Ранние зарницы».

Работает инженером в городе Пензе.

К МАМАЕВУ КУРГАНУ

Ты стоишь, курган, над рекой святой,
Где врагов своих сокрушил.
Ты скажи, курган, отчего сейдой?
— Горе Родины пережил...

Над тобой, курган, днем
и ночью тишь,
Только слышится плеск реки.

Ты скажи, курган, отчего
молчишь?

— Спят дивизии и полки...

Твой высокий меч — мирных зорь
исток,

На весь мир горит он в лучах.
Ты скажи, курган, отчего
высок?

— Слава Родины на плечах.

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ

В старом доме бабушка жила,
Горьким одиночеством томилась.
Бабушка участливой была —
Стая голубиная кормилась
Под ее заснеженным окном.
Птицы рано утром прилетали,
Стыли перед мраморным стеклом,
Ожидали тихо,

ворковали,

Открывалось медленно окно.
На сугроб ложилась плитка света,
И летело вкусное пшено,
Добрými ладонями согрето.
Растекался шорох по двору,
Голуби толкались,

суетились...

Но однажды створки поутру
Не открылись

и не осветились,

Не взметнулась щедрая рука,
Голуби до полудня сидели,
А потом махнули в облака.
Утром они снова прилетели.
Прилетали в третий,

пятый раз.

Время,

как обычно, торопилось,—

Таял снег,
и открывалась грязь,
А окошко так и не открылось.
Вот уже и яблони цветут.
Птицы все отлично понимают:
Больше не надеются,
не ждут,
Просто так к окошку
прилетают.

* * *

Среди туч,
наполненных свинцом,
Промелькнуло молнии лицо.
Миг один

та молния жила,

Но какую

яркой

жизнь была!

Озарила все поля вокруг,
Всполошила все зверье с яруг,
Высохшее дерево зажгла,
А всего-то — миг один жила!
И погасла

после жарких дел.

А над миром

долго гром гремел...

ВИКТОР АГАПОВ

Родился в 1939 году в городе Кузнецке Пензенской области в семье лесовода-охотника. Окончил приборостроительный техникум, работал мастером, технологом на машиностроительных заводах. Служил на флоте. Автор поэтических книг «Вечные огни», «Светло от простора», «Красные листья» (для детей), «Весенняя тропинка» (для детей). Занимается переводами поэтов братских республик. Стихи печатались в журналах «Нева», «Работница», «Волга», «Байкал», «Радуга», «Кодры», «Барвинок» и других, в коллективных сборниках. Член Союза журналистов СССР.

ВЕСНА

Весна смеется над морозом,
Ручьи лучами снесены,

Выходит к просеке береза,
Своей стесняясь белизны.
Лес оглушен грачиной встречей:
Грачи от радости хмельны.

И я иду весне навстречу,
Мне очень трудно без весны,
Без этой самой чистой силы
Неодолимого тепла,
Когда гудят по всей России
Земли родной колокола.

РОДНОЕ

Вечер. Приволье-раздолье.
Ветер торопит ко сну.
В синее полюшко-поле
Даль провожает луну.
Есть свои радости, боли
Видеть дорогу одну.

Родина, не оттого ли
Светлый, счастливый такой,
Что мое сердце, как поле,
Полнит покой-непокой...
Нет, мне не надобно боле
Доли другой никакой!

САЛОВСКИЙ БОР

Гудит высоковольтная опора,
Громадной туче путь загорюдя.
Надолго ль сердце Саловского бора
Перетянуло струями дождя?

Как льется этот ливень горделиво!
Как смотрит луч на землю свысока!

Сосновый бор шумит нетерпеливо,
Плечами раздвигая облака.

Иду в грозу. Путь впереди далекий.
Никак не успокоится река.
Но я спешу на берег синеокий,
Чтоб свидеться с кордоном лесника.

Гроза прошла стремительно, и скоро
Дождь отшумел, ушел на радость дня.
И громко сердце Саловского бора
Стучит. Стучит, как сердце у меня.

ТЕПЛО КРЕМЛЯ

Скворцы зимовали в Москве...
Из газет

Шумят колючие метели,
Снегами чистыми пыля.
Москва. Почти на каждой ели
Скворцы зимуют у Кремля.

Непринужденный гомон птичий.
Шуметь метели устают...
Перерезая гул столичный,
Скворцы поют. Скворцы поют.

На главной площади столицы
Доброжелательней, теплей:
Поют приветливые птицы
О милой Родине своей.

ЛАРИСА ЯШИНА

Родилась в 1941 году в Пензе. Окончила Пензенский политехнический институт, преподает в нем. Печаталась в газетах «Комсомольская правда», «Советская Россия», журнале «Крестьянка», в сборнике «Начало». Лауреат премии Пензенского комсомола.

* * *

Я уходящий год благодарю
За дни надежды, счастья и тревоги,

За пройденные новые дороги,
 За встреченную радостно зарю.
 Внесу свои поправки в календарь,
 И праздников там станет
 больше вдвое,
 И пусть пока что знаем мы с тобою,
 Что стал весенним месяцем январь.
 Но праздник — не безделье.
 Никогда
 Пусть в мире не восторжествует
 праздноть.
 Скажите, с чем она сравнима,
 радость
 Любимого и нужного труда?
 И разуму и совести внемли,
 И каждой клеткой ощутишь однажды,
 Что для того и появился каждый,
 Чтоб не исчезнуть никогда с земли.
 Чтоб искренностью слова и строки,
 Делами вознестись
 светло и гордо.
 Дни уходящего в бессмертье,
 в вечность
 Года,
 Как люди, и добры вы и строги!

РЕЧКА ДЕТСТВА

Прозрачной россыпью росы
 Играет солнце спозаранку,
 А я,
 девчонка из Росвы,
 Бегу с ведерком на Росвянку.
 Звенит речушка под горой,
 И родники спешат с ней слиться,
 Но скоро ей с рекой Угрой
 Водой придется поделиться.
 Все круче берега-бока...
 Угре блаженствовать недолго:
 Нетерпеливо ждет Ока,
 Оку ждет Волга,
 Море — Волгу...

Час входит в день,
 День входит в год,
 А детство переходит в юность,
 И кто из нас того не ждет,

Чтоб,
 хоть на миг,
 оно вернулось!
 Как быстро начали сесть!
 Но и от старости есть средство:
 Не потерять бы,
 разглядеть
 В потоке жизни
 речку детства.

 * * *
 Какая длинная дорога,
 Какие долгие года...
 Все кажется,
 что жить нам много,
 А посчитаешь — ерунда!
 Что ж тратить дни
 на лень и скуку,
 На бесполезность и вражду,

На бесконечную разлуку?!
И я от жизни счастья жду.
Какая длинная дорога!
Не одолеть, пожалуй, мне,
А ведь стою я —

у порога
И вижу тень твою в окне.

ВЕСЕННИЕ ВЕРБЫ

Как вехи в моей судьбе,
Весенние вербы...
Нет веры совсем тебе,

Мой милый,
нет веры!
Днем солнце припечет,—
Морозно ночами,
Я знаю наперечет
Дни радости и печали.
Считаю уже года,
Явилась усталость.
Была я всегда горда,
Так что же вдруг случилось?
Мелькают в моей судьбе
Весенние вербы...
Как быть мне с любовью к тебе?
Как жить мне без веры?

ВЛАДИМИР ПОДОЛЬСКИЙ

Родился в 1945 году в городе Железноводске Ставропольского края. Работал на стройке. После окончания Пензенского инженерно-строительного института — инженер-строитель одного из предприятий Пензы. Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Стихи печатались в журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Библиотекарь», в газете «Красная звезда», в коллективном сборнике «Волжские зори».

РОДИНА

Перелесков прохладных разливы,
Свежий запах зовущих дорог,
Даже шепот застенчивой ивы
Позабить вдалеке я не мог.

Это все моя светлая родина,
Где стоит осока за избой,
Все дороги,
Что мной были пройдены,
Тишина и простор голубой.

Чистоте родниковой водицы,
За околицей,
Возле села,
Так и хочется мне поклониться
И приняться опять за дела.

Ведь немало еще не устроено...
Ходит старая мать у плетня.

Это все моя милая родина,
Где всегда не хватает меня.

ПАНФИЛОВЦЫ

Ждала их трудная работа.
В промерзший склон
врубались зло,
И спины,
Мокрые от пота,
На яростном морозе жгло.
Шел дух хмельной,

осатанелый
От потревоженной земли,
А в поле снег был
белый-белый,
И танки по нему пошли.
Броня, не выдержав,
горела,
И оседал в траншеях дым.

Вставал солдат
Над миром целым
И оставался молодым.
А после бережно бураны
Снегами бинтовали рвы,
И тихо остывали раны
У стен
Недрогнувшей Москвы.

* * *

Собирая по росе грибы,
Шел я на рассвете вдоль опушки.
Петушок
Из дальней деревушки
Со своей горланил горотьбы.

Вдалеке пылали облака.
Месяц потускневший жался к бору,
Где парной туман у сосняка
Меж стволами таял в эту пору.

И корзинка, полная опять,
Не была для рук
Тяжелой ношей,
Но внезапно натолкнулся взгляд
На пустой окоп,
Травой заросший.

И дохнула на меня война
Смертным холодком
От ржавой каски...
А на дне окопа тишина
Колыхала тоненькую ряску.

ЛАРИСА КАЧИНСКАЯ

Родилась в 1947 году в городе Котовске Тамбовской области. Окончила историко-филологический факультет Пензенского пединститута. Работала учительницей в сельских школах, после окончания аспирантуры при Центральном институте усовершенствования учителей в Москве работала в районном отделе народного образования, в пединституте, в Доме работников просвещения города Пензы.

Печаталась в областной печати, в центральных газетах, в журналах «Юность», «Волга». Автор книги стихов «Три станции».

* * *

Однажды я с прискорбием замечу,
Что перестали лстить мне зеркала.
Сутулые отяжелели плечи,
А меж бровей забота залегла.
Все беспристрастно выявит стекло,
Обижусь на него до слез, а впрочем,
Воды уже немало утекло,
И не один уж камешек источен.
Как солнечна она порой была,
Как солона, та буйная водица.
Озерной гладью светят зеркала,
Немудрено в них жизни отразиться.
Но не считайте по морщинам лет,
В лицо не бойтесь пристально взглядеться,—
Пока красы беспечной таял след,
Его, трудясь, преображало сердце.

Из зарубежной поэзии

МИХАИЛ КУДИНОВ

ВОЛЬТЕР И БАСТИЛИЯ

Судьба дважды сводила Вольтера с Бастилией.

В первый раз его взяли под стражу и препроводили в печально знаменитую тюрьму 16 мая 1717 года. Вольтером тогда он еще себя не называл, и в «летр де кашэ», то есть в тайном повелении об аресте, четким почерком было выведено: Франсуа-Мари Аруз. Случилось это на 24-м году его жизни.

Что же такое довелось ему совершить, чтобы власти прибегли к столь суровой мере возмездия?

Происходил он из вполне добропорядочной семьи и, хотя не мог похвастать дворянским происхождением, окончил учебное заведение, в котором учились дети из самых знатных фамилий Франции. Попастъ туда мальчику, дед которого переехал в Париж из провинции и держал в столице суконную лавку, было бы невозможно, но к тому времени его отец, который по торговой части служить не пошел, стал известным нотариусом и законоведом и обзавелся надежными связями среди своих высокородных клиентов. Помог в этом деле и крестный отец Вольтера аббат Шатонеф, вольнодумец по образу мыслей и аристократ по происхождению, принявший в судьбе и воспитании своего крестника самое живое участие. Так десятилетний внук суконщика попал в коллеж Людовика Великого, где преподавали отцы-иезуиты, основавшие это аристократическое учебное заведение. Они по праву считались большими эрудитами и умелыми педагогами, но вот внушить религиозные чувства своему воспитаннику так и не сумели, тем более что еще до коллежа его крестный давал читать ему книги, которые никак не могли способствовать развитию в нем благочестия. (Кто-то из биографов Вольтера заметил, что смеяться над религией он научился раньше, чем к ней приобщился.)

Писать стихи он начал на школьной скамье, и, к чести его педагогов, они всячески поддерживали в нем склонность к литературе. К чему это в конце концов приведет, они, конечно, не догадывались.

После окончания коллежа Вольтер по настоянию отца недолгое время занимался изучением юриспруденции, которую он терпеть не мог, и вел светскую жизнь, которая явно была ему по душе. Неутомимый аббат Шатонеф ввел своего крестника в знаменитый кружок вольнодумцев, собиравшихся в замке Тампль, принадлежавшем опальному герцогу Филиппу Вандомскому. Во время веселых застолий там велись непринужденные беседы и царил дух фрондерства, философского скепсиса и мудрого эпикурейства. Можно там было встретить и двух известных поэтов — аббата Шолье и маркиза де Лафара, слывших корифеями так называемой «легкой поэзии». Совсем еще юный Франсуа-Мари за свой литературный талант и редкостное остроумие был принят в этом аристократическом кружке как равный.

В 1715 году произошло событие, которого давно ожидала вся Франция: наконец-то умер Людовик XIV. Он процарствовал 72 года, и, поскольку пережил и

сына и внука, с балкона королевского дворца был провозглашен королем его пятилетний правнук. Узнав эту новость и забыв о соблюдении траурного этикета, Париж ликовал: все ждали перемен к лучшему. В последние годы жизни «короля-солнца» страна терпела военные неудачи, экономика ее разваливалась, а вместо ожидаемых реформ король, подпавший на старости лет под полное влияние иезуитов, установил в государстве режим официального ханжества и религиозного мракобесия.

При малолетнем Людовике XV регентом стал Филипп Орлеанский, племянник покойного монарха. В начале своего правления он выслал из Франции еще недавно всемогущего духовника Людовика XIV и выпустил из тюрьмы людей, ставших жертвами религиозных преследований. Пытался он и оживить торговлю, и привести в порядок финансы. Общественная жизнь менялась на глазах: цензура перестала свирепствовать, обязательное посещение церкви было отменено, и в светском обществе укоренялись свободные нравы. Вскоре они начали перерождаться в откровенный разгул, и пример этому подавал сам регент, проводивший свободное от государственных дел время в компании людей, которых он же и окрестил «висельниками». Но, видимо, все же не это было главной причиной, положившей начало падению его популярности: проводимая им политика страдала непоследовательностью (изгнанным гугенотам он так и не разрешил вернуться на родину), а попытка наладить экономику при сохранении феодальных порядков закономерно окончилась неудачей. И вот из рук в руки стали передаваться рукописные или нелегально изданные сатиры и памфлеты, в которых подвергалась нападкам политика регента, к чему он относился довольно терпимо, и обличались его пороки, на что он реагировал весьма болезненно. В особую ярость привели Филиппа Орлеанского намеки на его кровосмесительную связь с герцогиней Беррийской, его дочерью. Так это было или не так, но сочинители сатир на этот счет регента не щадили. Какие-то эпиграммы пустил в оборот и Вольтер (точно его авторство не было установлено), но одно его сочинение, почему-то написанное по-латыни, принадлежало ему бесспорно: он сам в этом признался некоему офицеру, который был к нему подослан полицией. Неосторожному «латинисту» грозили большие неприятности, и он срочно вынужден был уехать из Парижа. Потом дело вроде бы забылось, и Вольтер вернулся в столицу. Некоторое время спустя по рукам стала ходить стихотворная сатира под названием «Я видел» (все на ту же крайне неприятную для регента тему). Вольтер к этим стихам никакого отношения не имел, но их подлинный автор, один молодой вертопрах, стал распространять в обществе слух, что написал их сын Аруэ. Слуху поверили, и в «летр де каш» вписали его имя.

Так Вольтер впервые оказался в Бастилии.

Ее узники были в особом положении: следствие по их делам не велось, суд не выносил приговора и срок наказания не определял; человека бросали в тюрьму, и просидеть он мог в ней долгие годы, если о нем вообще не забывали.

В самом начале заключения к Вольтеру явился полицейский чин и стал допытываться, где он хранит свои бумаги: при обыске ничего предсудительного у арестованного не обнаружили. Вольтер заявил, что выбросил их в нужник, но в какой, не помнит. Начальство распорядилось тщательно обследовать отхожие места, что и было сделано. Однако после нескольких неудачных попыток пришлось признать, что полиция оказалась жертвой дерзкой сатиризации. В Париже над этой проделкой злорадно посмеялись и вскоре о ней забыли; постепенно стали забывать и того, кто был ее виновником.

В тюремном одиночестве он решил всерьез взяться за перо. Но перьев и бумаги ему не дали, и писать пришлось карандашом между строк и на полях имеющихся в наличии книг. Так родилась его первая трагедия «Эдип», которая принесла ему славу лучшего трагического поэта своего времени, чье имя достойно занять место рядом с именами Корнея и Расина. Там же, в Бастилии, написана значительная часть его поэмы «Генриада». Потом, когда она вышла в свет, ее автора единодушно признали великим эпическим поэтом Франции, у которой не было до этого своего эпоса. (Французы считали такое положение недопустимым пробелом в их литературе.)

Трудно сказать, сколько лет просидел бы Вольтер в тюрьме, если бы его отец

не имел солидных связей и если бы не хлопотали за него высокопоставленные покровители. В заключении он пробыл одиннадцать месяцев.

Его выпустили на свободу в апреле 1718 года, а в ноябре уже состоялась премьера «Эдипа», успех которого превзошел все ожидания. С этой трагедии, впервые подписанной именем Вольтера, началась его всеевропейская слава. Сам регент присутствовал на спектакле, и сохранился рассказ, будто представленный ему автор не преминул сказать своему собеседнику: «Я весьма признателен вашему королевскому высочеству за его заботу о моем пропитании, но прошу вас больше не обременять себя хлопотами по подысканию мне квартиры».

Однако «квартиру» ему все-таки опять подыскивали, и опять по прежнему адресу. Правда, регент был здесь уже ни при чем: к тому времени он благополучно скончался.

Случилось это в апреле 1726 года. Постоянно вращаясь в светском обществе, Вольтер несколько раз вступал в пикировку с одним знатным дворянином, неким шевалье де Роаном. Видимо, посчитав себя задетым колкими ответами своего оппонента, шевалье решил по-рыцарски с ним рассчитаться: во время ужина у герцога Сюлли Вольтера вызвали из-за стола якобы по какому-то неотложному делу, и на пороге герцогского дома лакеи де Роана избили его палками. Хозяин дома, как и некоторые его именитые гости, отнесся к этому происшествию весьма спокойно: сработала, видимо, «классовая солидарность». Напрасно Вольтер пытался искать защиты у правосудия. Тогда, от природы щедедушный и болезненный, он взял несколько уроков фехтования и послал своему обидчику вызов на дуэль. Шевалье де Роан от дуэли уклонился, зато его знатная родня, похлопотав где следует, сумела засадить беспокойного поэта в уже хорошо ему знакомую Бастилию. Недаром в своих мемуарах он обронил эту фразу: «Во Франции надо быть молотом или наковальней. Я был рожден наковальней».

На сей раз заключение длилось две недели, после чего Вольтеру было предписано выехать из Парижа. В ответ он возбудил ходатайство о разрешении на выезд в Англию. Ему не просто разрешили, а категорически предписали туда выехать, и в сопровождении полицейского чина прославленный автор «Эдипа» и «Генриады» покинул столицу. Через несколько дней корабль доставил его к английским берегам.

Написанное в тюрьме стихотворение «Бастилия» занимает особое место в творчестве Вольтера: о действительных событиях своей жизни никогда в стихах он больше не повествовал и не делал себя героем своего повествования. Тем более это стихотворение представляет для нас интерес. В нем явственно различима неповторимая вольтеровская интонация, а рассказ о появлении третьего лица троицы, то есть святого духа (или Параклета, как его называли в богословских книгах), — это как бы предвестие будущих атак великого вольнодумца на догматы христианской религии. Кончается стихотворение обращением к некоему Марку Рене. Кого имел в виду Вольтер, его французские комментаторы не расшифровывают (должно быть, потому, что не знают). Марк Порций Катон — известный политический деятель Древнего Рима, прославившийся своей непреклонностью и строгостью нравов, и, возможно, имя Марка отсюда и взялось. Намяк ли Вольтер на регента (исходя от противного, потому что тот не отличался строгостью нравов) или на кого-то из его советников, для нас теперь не имеет особого значения. Интересно другое: и трагедию «Эдип», и эпическую поэму «Генриада» в наше время читают только историки литературы. А «Бастилию» читают не только они.

ВОЛЬТЕР

• БАСТИЛИЯ

1717

В день Троицы со мной случилось это:
В весенний день, точнее, в час рассвета,
Какой-то шум вдруг мой нарушил сон;

И мой слуга, что с вечера был пьяным,
Мне объявил: «Хозяин, это он!
Кто? Дух Святой! С таким вот шумом странным
Он к людям входит. Знаю, сам читал»...
Тогда сквозь зубы я пробормотал:
«Меньшой из трех, чья суть непостижима,
Приветствую вас, милый Параклет...
Не тот ли вы, что нас неудержимо
К любви влечет?» И словно мне в ответ,
Как будто наконец решив открыться,
Возник не голубь, нет, не голубица,
Святого Духа ласковая птица,—
Явились двадцать воронов, чей взгляд
Искал добычи и сулил мне ад.
Один из них крадущейся походкой
Ко мне подходит. Вид довольно кроткий,
Елейный тон и комплиментов пыл
Скрывали желчь, что в сердце он таил.
«Мой сын,— сказал он,— при дворе известны
Заслуги ваши: хвалят повсеместно
Вас за стишки, за острый ваш язык.
Король за все вознаграждать привык!
И потому, исполненный признанья,
Вам дать приют имеет он желание
В одном из замков: будете вы там
Спокойно жить на зависть всем врагам.
За дверью ждут вас люди с нетерпеньем,
Они туда проводят вас с почтеньем,
А я, мой сын, подняв с постели вас,
Лишь королевский выполнил приказ». —
«Вот хитрецы! — сказал я.— Ну вас к бесу!
Меня вы все решили разыграть!
Я не рифмач придворный: где мне знать
И короля, и принца, и принцессу?
И признаюсь, я был бы рад вполне,
Чтоб и они не знали обо мне.
Готов их чтить: они земные боги...
Но гром их поражает нас порой;
Не зря мудрец обходит стороной
Земных богов, а также их чертоги.
А потому скажите королю:
Он оказал мне слишком много чести.
Я от души его благодарю,
Но предпочел бы жить на старом месте.
Своим жильем вполне доволен я,
В моей берлоге спится мне спокойно,
Я сердцем чист, веду себя пристойно
И королям нет дела до меня». —
Напрасно я пытался оправдаться,
Один ответ у вкрадчивых господ:
«Пройдемте, сударь. Вас карета ждет!»
И под руки берут... Пришлось мне сдаться,
Пришлось пойти... И вот уже везут
Меня в весьма прославленный приют,
Что с церковью святого Павла рядом
Построен Карлом Пятым. Божьим чадам
Жилья такого я б не пожелал!
Приехали. Тут предо мной предстал
Какой-то тип, на вид довольно скромный,
И принялся хвалить мой новый кров,

Хвалить замки, решетки и засовы;
 «Луч солнца никогда,— сказал он томно,—
 Не проскользнет в ваш уголок укромный,
 А толщина надежных этих стен
 Хранит прохладу: нет здесь перемен». —
 Затем хвалу воздал он в полной мере
 Красотам и удобствам местным: двери
 С тройным запором, прутья на окне...
 «Так жить спокойней»,— объяснил он мне.
 Лишь пробил полдень — в новое жилище
 Внесли похлебку мне. От этой пищи
 Я загрустил. Сказали мне тогда:
 «Полезна вам подобная еда.
 Спокойно ешьте. Все здесь честь по чести»...
 И вот живу я в этом грустном месте,
 В Бастилии живу с моей бедой,
 Почти не сплю, холодной едой
 Питаюсь, воду пью, сижу под стражей
 И позабыт любовницею даже.
 О Марк-Рене! Катон, что был так строг,
 В преемники свои вас взять бы мог.
 О Марк-Рене, чья милость и советы
 Столь многих здесь заставили стенать,
 Вы помогли меня замуровать,
 Так пусть и вам господь воздаст за это!

Перевод с французского
 Михаила Кудинова

ЭМИЛИ ДИКИНСОН (1830—1886)

Известный американский литературовед и критик Ван Вик Брукс писал в 1936 году: «Готорн, Торо и Эмерсон составляли авангард национальной литературы бок о бок с Эмили Дикинсон, Уитменом, По и Мелвиллом». Примерно то же было сказано потом американским поэтом и критиком Рэндаллом Джаррелом: «Уитмен, Дикинсон и Мелвилл представляются мне лучшими поэтами XIX века в Америке». Имя Дикинсон давно уже ставится в один ряд со славнейшими именами золотого века американской литературы. Со времени выхода в свет книги Брукса «Расцвет Новой Англии», которую мы процитировали, репутация Эмили Дикинсон еще больше выросла и упрочилась, особенно после издания в 1955 году полного научного собрания ее стихотворений. А при жизни Эмили Дикинсон было опубликовано всего семь ее стихотворений. Слава к ней пришла спустя десятилетия после ее смерти. Вероятно, она родилась раньше своего времени.

Эмили Дикинсон умерла 15 мая 1886 года на пятьдесят шестом году жизни, оставив после себя около тысячи восьмисот неопубликованных стихотворений. Большинство этих стихотворений были набросками, записанными второпях на первых попавшихся клочках бумаги, на обратной стороне счетов, на обертках от мыла. Но некоторые свидетельствовали об упорной работе и содержали много вариантов строк и слов. Все ее стихи коротки и несут на себе безошибочно узнаваемую печать ее личности. Как уже в наше время сказал один английский критик, «они так сжаты, что похожи на телеграммы». Или на прорицания оракула. Только это не мрачные прорицания, а часто остроумные, иногда даже веселые, а иногда причудливые — на грани каприза. Ее стихи нередко показывают нам мир в обратной перспективе: далекое и большое видится приближенным и мелким, и наоборот. В ее миниатюрном мире можно из крошек хлеба соорудить банкет, а мелкие создания — вроде мухи, пчелы, бабочки — могут вдруг заслонить весь мир.

Эмили Дикинсон остро воспринимала все изменения состояний и «настроений» природы, особенно связанных с переменной освещенности. Свет открывал ей

(высвечивал) тончайшие изменения в предметах, а также ощущение бренности нашего земного существования. Ранней весной

Такой бывает свет
У неба над холмом,
Что не назвать его никак
И не понять умом.

С этим светом жаль расставаться. Совсем по-другому воспринимается осеннее освещение, когда «солнце в небе — будто гость, зашедший на часок». Зимой же, случается, «вдруг солнца луч блеснет», который давит, словно груз. Этот луч воспринимается поэтом как «посланный нам с высоты какой-то тайный знак»:

Лишь только он блеснет —
Все замирает вмиг.
Но вот он гаснет — это Смерть
Заглядывала в мир.

Это очень похоже на восприятие Ф. Тютчевым зарниц, которые «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой»:

И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.

Ощущение изменений в природе как тайного языка каких-то высших сил характерно для Дикинсон, как и для Тютчева. Как и наш поэт, она не сомневалась, что у природы «есть язык» и что на этом языке бог разговаривает с человеком. Во всяком случае, пытается разговаривать.

В стихах Дикинсон часто речь идет о смерти, которую поэт воспринимает как врата в будущее существование. Это будущее существование имеет не так уж много общего с обычным раем, который предлагали ей с раннего детства протестантские гимны и молитвы. Смерть для нее означает признание ее как поэта и радость общения с высоко ценимыми ею людьми, с которыми она не могла общаться на земле. Эмили Дикинсон, всю жизнь почти совсем не покидавшая своего дома, даже могилу представляла домом:

Потом проехали мы дом,
Возникший как вопрос,
Он земляной был и притом
По крышу в землю врос.

Но как и дом, в котором она жила в Амхерсте, этот «дом» тоже всего лишь временное пристанище или веха на пути к Вечности. Не единственная веха. Указатели расставлены повсюду — надо только уметь их читать. Из всех людей, может быть, только поэт замечает эти знаки и пытается постичь их смысл*.

При всей своей устремленности в запредельное и странном, отшельническом образе жизни Эмили Дикинсон обладала живым, даже веселым характером и радовалась жизни во всех ее проявлениях. Она не мистик и не религиозный поэт. Иногда она чисто по-женски флиртует с вечностью и кокетничает с богом. Бог в ее стихах выглядит довольно загадочной и противоречивой фигурой. Творец, который, вероятно, не знает, зачем он творил, бог предстает то «грабителем» и «банкиром», то джентльменом, герцогом, королем, иногда существом, персонифицирующим смерть, иногда в качестве небесного любовника. Вероятно, все это версии мужчин, которых она тайно любила, или проекция фигуры ее отца, доминировавшей в доме. Как бы там ни было, она с удивительной для ее среды и ее времени свободой обращается со «священными» темами.

Окончательное впечатление от стихов Эмили Дикинсон — впечатление поразительной чистоты и оригинальности. Несмотря на ее почти болезненный

* Ср. у Веновитина: «Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает...»

интерес к смерти, вполне очевидны ее вовлеченность в жизнь мира сего («О, сколько радости вокруг!»), острое восприятие природы и постоянное ощущение слова как материала ее искусства. При всех слабостях ее стихотворной техники (крайне ограниченный метрический репертуар, слабые и приблизительные рифмы) она умела находить самые нужные слова в самый нужный момент. При склонности к «поэтическим» красотам (особенно в ранних стихах) она не гнушалась «низким» стилем — у нее можно встретить и термины из самых различных областей знания и ремесла, и самые обычные, казалось бы, давно стершиеся от постоянного употребления слова, которые под ее пером оживали и «молодели» в непривычных контекстах.

Один критик, сравнивая Эмили Дикинсон с Уолтом Уитменом, сказал, что они «писали, как если бы до них никто не писал стихов». В этих словах содержатся и справедливая критика слабостей этих двух поэтов, и большой и заслуженный комплимент их творчеству в целом. В лучших строках Эмили Дикинсон чувствуется сила и магия великого поэта.

Безусловно, главным источником поэзии Эмили Дикинсон было ее одиночество. Но одиночество бывает только тогда плодотворным для художника, когда художник тяготеет им и пытается его преодолеть в своем творчестве.

Аркадий Гаврилов

205

Не должен быть оставлен друг —
Ведь если — если он умрет,
Когда меня не будет, — рук
Ласкающих он не найдет.

И если взгляда моего —
Которого он ждал и ждал —
Не встретит, — он глаза свои
Закрыть не сможет — хоть устал.

И если веру я убью, —
Что я приду, что я приду, —
Он будет имя повторять
Мое — забытое — в бреду.

Так лучше раньше я умру —
О, лучше раньше, чем потом, —
Что толку в солнце поутру,
Когда земля покрыта льдом!

1860

Нумерация стихотворений соответствует изданию: *The Poems of Emily Dickinson*. Ed. by Thomas H. Johnson. Vol. 1—3. Cambridge, Massachusetts, The Belknap of Harvard University Press, 1955.

182

254

Надежда — из пернатых,
Она в душе живет
И песенку свою без слов
Без устали поет —

Как будто веет ветерок,
И буря тут нужна,
Чтоб этой птичке дать урок —
Чтоб дрогнула она.

И в летний зной, и в холода
Она жила, звеня,
И не просила никогда
Ни крошки у меня.

1861

303

Душа впускает избранных друзей —
И на замок —
Чтоб ни один, помимо них,
Войти не мог.

И равнодушно слушает порой
Трубу гонца,

И равнодушно смотрит, как король
Ждет у крыльца.

Моя душа в себя впускает
Одного
И закрывается — и больше
Никого.

1862

«А я за Правду,— он сказал,—
Теперь тебе я брат».

Как родственники, что в ночи
Друг друга обрели,
Шептались мы — куда мхи
Нам губ не оплели.

1862

449

Я умерла за Красоту —
В могилу я легла —
И тут сосед меня спросил,
За что я умерла.

«За Красоту»,— сказала я
И поняла — он рад.

686

Считают: «Время лечит» —
Не лечит время мук —
Они с годами все сильнее —
Как мышцы ног и рук.

Есть время-испытанье
И нет лекарства лет —



Рис. Р. Гуттузо

А коли так, то значит,
Что и болезни нет.
1863

812

Лишь раннею весной
Такой бывает свет —
Во все иные времена
Такого света нет.

Такой бывает цвет
У неба над холмом,
Что не назвать его никак
И не понять умом.

Он медлит над землей,
Над рощею парит,
Высвечивая все вокруг,
И чуть не говорит.

Потом за горизонт,
Блеснув последний раз,
Уходит молча он с небес
И оставляет нас.

И будто красоту
Похитили у дня —
Как если бы моей души
Лишили вдруг меня.

1864

937

Я чувствую в моем мозгу
Разрыв — истлела нить.
И вот пытаюсь, шов за швом,
Края соединить.

Прилаживаю к мысли мысль —
Нижу их на иглу, —
Но разбегаются они,
Как бисер на полу.

1864

1075

Нависли низко облака,
Кружится редкий снег —
Снежинки думают пока,
Упасть им или нет.

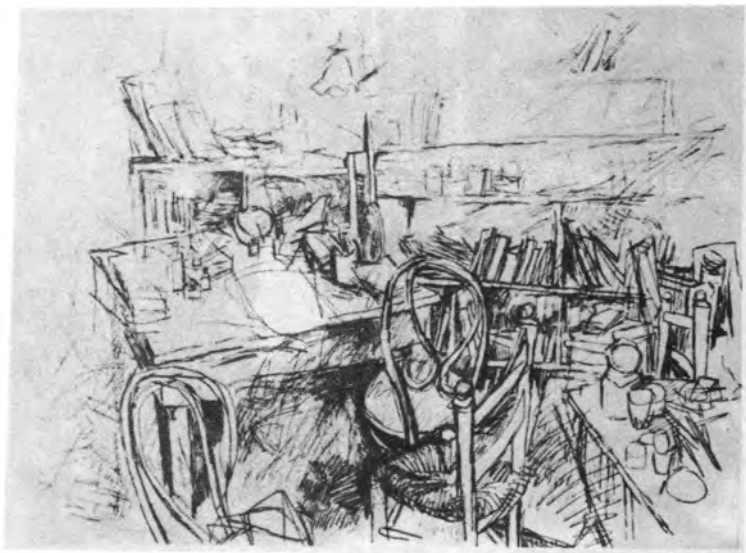


Рис. Р. Гуттузо

И плачет ветер целый день —
И стонам нет конца.
Природу можно, как и нас,
Увидеть без венца.

1866

1159

Большие улицы вели
В кварталы Тишины,
Где ни закона, ни вины,
Ни мира, ни войны.

Заглядывает утром ночь
В оконное стекло —
Но там ни суток, ни эпох,
Там Время истекло.

1870

1498

И стала улица стеклянной —
И замер пешеход —

Такого дня, такой погоды
Мы ждали целый год.

Промчались, громяхая, санки
С горы — мелькнула тень.
И только прошлого пометы
Нам портят этот день.

1880

1760

Элизиум недалеко —
Он за стеной, когда
Там ожидает близкий друг
Блаженства иль Суда.

И что за сила у души,
Чтоб не завывать, как зверь,
Когда послышатся шаги
И тихо скрипнет дверь!

1882

Перевод с английского
Аркадия Гаврилова

В конце номера

АНТОН ГОРЛЫШКОВ

ПРО СТИХОТВОРНЫЕ ОБМОРОКИ, СЕРДЦЕ ПОД ПОЛОЙ И СКАМЬЮ ОБИДЫ,
ИЛИ О ПОЛЕЗНОСТИ ГЛЯДЕНИЯ НА МИР СКВОЗЬ ЛОПУХИ

(Литературный трактат с экскурсом в XVIII век)

Вы же — Господа стихотворцы! — изображаете природу, луга, поля, шумящие источники, цветы, деревья, горы и болота лучшим и приятнейшим для человека утешением... Но что за черт поселил вам такой вздор в голову? Некогда одна девушка, сошедшая с ума от романов, легла на лужку под деревом, воображая себе, что цветы придут к ней давать поцелуи; но, напротив того, посетили ее безчисленные кучи муравьев, жуков и козявок, которые начали ее целовать своим манером. Бедная девка вскочила как бешеная и не знала куда деваться. Вот тебе и цветочные поцелуи!

«Чтонибудь от безделья на досуге».
Еженедельное издание Н. Осипова,
Спб., 1798

В давнишние времена, в осьмнадцатом веке, когда еще в цене у молодых чувствительных сердец были душевные порывы, в большую моду вошли... обмороки. Как пишет один из современников, обмороки стали одной из форм «любовного поведения» щеголих. Ассортимент обмороков был широким: обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины, «обморок кстатии», обморок коловратности... Всех не перечислить. Да и стоит ли перечислять их, ушедшие в прошлое обмороки, если в наши дни они вновь нагрянули к нам. Правда, теперь обмороки стали, я бы сказал, с т и х о т в о р н ы м и. Но по-прежнему героини и герои стихотворений не упускают возможности «разметаться приятным для глаз образом», по выражению дедушки Крылова. Конечно же, тон в этом направлении задают авторы, принадлежащие к лучшей половине человечества.

Пройдя кошмар сомнений и разлук,
К тебе, как ценности непреходящей,
Вернулась я и увидела вдруг,
Что у тебя все прочно в настоящем —
Уют и лад — и что душе твоей
Чужд непокой мой. Верность утонула
В моей вине — тебе спокойней с ней,
Я — на твой мир нацеленное дуло!

Смотрите, как сумела изящно «разметаться приятным для глаз (читателя!) образом» Елена Андреева в книге «Твоя любовь»! Истинность лирического чувства подменилась приблизительным правдоподобием душевного состояния, в стихотворном объеме растворились манерность и кокетство. Придуманная трагедия выдала душевный комфорт лирической героини. Нельзя также не заметить стремления и умения автора быть не с а м о й с о б о й: «Я Вам привижусь золотой синицей среди отвергших землю облаков...», «На нежном слове не любви: я вся — как истина простая», «В песок, как в Лету, кану, в глубинах растворюсь, а может, ливнем стану, выплакивая грусть...» Подобным метаморфозам в сторону сусального изящества подвергаются и другие персонажи книги: «Я замерзала, и меня спас витязь с черными глазами... На нем богатая чалма (?) переливалась жемчугами (?)». Ну а вариации на тему сердца кочуют буквально из стихотворения в стихотворение: «Ты молчал, и я сердце бросила в костер...», «И в такт сердцам пропелеры гудят, и в двух концах машины путь итожат...» Вершиной мнимых поисков стали строки, доказывающие, по-видимому, как думает автор, что и поэты-сы любить умеют (если вспомнить любезного нашим душам Н. М. Карамзина):

Семнадцать было девушке — так мало!
А как любить умела... Не смогла
Проститься с другом — сердце отказало,
И в ту же землю рядом с ним легла.

Нет, что ни говорите, а странный все-таки народ — поэтессы!

Кстати, об эпитете «странный»! Он почему-то не вошел в «Словарь эпитетов русского литературного языка». Видимо, исправляя упущение ученых, Е. Андреева старательно и плодотворно использует его в своих произведениях, отчего «стихотворные обмороки» становятся все «страннее» и загадочнее: «Упивалась обманом, клином клин вышибала. В отношениях странных я себя обретала», «Вы обвели сердца кольчужной сталью. Но Вам по нраву странный наш роман» (здесь автор из осьмнадцатого века перепархивает в жестокий романс начала нашего столетия, но ведь и это простительно для чувствительных сердец!).

Впрочем, не одна Е. Андреева отдала свое сердце этому свежему эпитету. Перелистаем книгу В. Левыкина «Вечерние тени»:

Странной вьюгой Речного вокзала
Я приперт был к столам, как к стене.
Вышла женщина, тихо сказала:
— Я вас знаю, пойдемте ко мне.

Лирический герой В. Левыкина также прилежно изучает «науку упадания в обморок». Но если Е. Андреева делает это с ненавязчивым простодушием, то автор «Вечерних теней» привносит в «стихотворные обмороки» великосветскую изысканность и бонтон: «Мы в ссоре. Ты у пианино. Играешь. Разговор начать?..», «Ты коньяк и лимоны достанешь, грустно скажешь: — Какая зима», «Протягиваю пачку «Saleem». — С ментолом? — и таксист берет...» Так задача литературы — отображение жизни, ее осмысление — подменяется побегом от реальности, от насущных проблем. А «великосветский антураж» говорит о том, что автор, увы, идет на поводу у невзыскательных вкусов некоторых читателей.

«Дашь красивую жизнь!» — этот лозунг мил сердцу и лирического героя книги В. Краско «Ночь светла». И здесь все то же стремление «припудрить» обыденность, нежелание или неумение сказать о самом-самом, что сейчас волнует (должно волновать!!!) поэта. Наверное, потому, что книга называется «Ночь светла», большую часть времени ее персонажи, возглавляемые лирическим героем, спят и смотрят сны: «Мне снился «званный вечер» — где-то на Невском? Может быть, в Твери?», «Мне снилось, что я молод. Под гомон осенних стай, бессонницей перемолот, собою во сне стал». «Стихотворные обмороки» В. Краско отмечены экспрессивностью и энергией:

Верни мое сердце! Его под полой,
Как бомбу крамольную, спрячу,

Заряжен сердечною речью былой,
С тоской бессердечья в придачу.

Все это сочетается с сумбуром литературно-семейных отношений, свидетелем которых поневоле становится читатель: «Захлебнуться — невзначай, нечаянно —

именем «не мужа» — что за чушь! На неделю замолчит отчаянно твой законный-презаконный муж».

Не удался автору и экскурсы в литературную историю, превратившиеся в автопародию художественной безвкусицы:

Кровью крестного верховья, а не просто ран,
Посреди средневековья — как «но пасаран!» —
Воссияла у постели, торопя века,
Однорукого Мигеля правая рука.

«Стихотворные обмороки» Ларисы Сушковой идут попеременно с рукодельем. Не случайно лирической героине книги «Круги» хочется «в иглу-рогатину ручья нитку вдевать и ею расшивать склоны». Но пока до склонов дело не дошло, автор «расшивает» свои стихи: «Белым плеском фаты под узорчатым рюшем ослепила народ...», «Покрытое жемчужной дымкой — в ребенка мужество вдохнет...» (поясню, что стихи называются «Время»: именно его «покрыла жемчужной дымкой» наш трудолюбивый автор). Ну а в перерыве между «расшиванием» стихов «рюшем» и «жемчужной дымкой» можно и упасть в обморок. Правда, автору в этом порой мешает косноязычие: «Мы на бревнах сядем рядом, в сказку не дыша...», «Снесена скамья обиды. Долго был обратный путь». То там, то тут вылезут на поверхность «швы» рукодельно-литературных поделок:

Взывает событие
Прекрасной руки,

Но что не избыть ей
Чугунной тоски (?)

Откроем книгу Ю. Кобрин «В вечном споре». Уже первое заявление автора: «Широколапы лопухи. Гляжу сквозь них на мир с досадой...» — заставляет предпологать, что книга неординарная. В самом деле, мир автора предстает перед нами, скажем помягче, в такой трансформации, что поневоле думаешь: «Только ли лопухи, сквозь которые смотрит автор на мир, в этом виноваты?»: «И сноп доброй бабой войдет ко мне через окно...», «Облака надо мной — белые ящики...», «Бомбой прокатился помидор по серой набережной города...» Странное ощущение остается после прочтения книги Ю. Кобрин: ощущение безжизненности, обставленной все тем же «великосветским антуражем»:

Звени, фужер! На этажерке,
страшнее орудийных жерл,
стоят тома.

что нож в паштет, как шпага, воткнут,
что съедена уже селедка,
что пью я для чего-то водку...

Прости, мон шер,

Но что нам нынче политес...

Некоторые откровения из стихов относятся, видимо, более к области медицины, чем к изыщной словесности: «Капнет капля пота на живот — до кишок она тебя прожжет», «Какое странное небо! Какие странные годы! Конечно, смешны бутерброды, скользющие по пищеводу...»

Еще Вяземский говорил о том, что нужно ввести жизнь в литературу и литературу в жизнь. Видимо, Ю. Кобрин понял эти слова впрямую. Поэтому его лирический герой и персонажи стихотворений черпают свой лексикон прямо из родников жизни: «Сидим. Пьем чай. Смотрю внимательно: грамматика оттиснута на матрице его мозгов. Ругаю себя матерно...», «И материт сомлевшего быка какой-то неизвестный дядя Коля...»

На примере книги Ю. Кобрин мы познакомились с интересным феноменом все той же «науки упадания в обморок», который условно можно обозначить в отличие от упоминавшихся обмороков Дидоны и спазмов Нины — «обморок наоборотный» или «обморок не как у всех». Впрочем, видимо, сам автор сомневается в плодотворности «наоборотных стихотворных обмороков», свидетельством чему служат такие строки из книги:

Колокольчика звон из балдежной весны не доносится.
Я остался один... ни двора, ни кола...
И по ненаступившей болдинской осени
панихидно звонят колокола.

Жаль, конечно, автора за его «ненаступившую болдинскую осень», и хотелось бы убедить его в обратном. Да не получается!

Теперь я это время года
Узнаю без календаря —
Ведь так устроена природа,
Что очень мокрая погода
От сентября до ноября.

Вот где раздолье для прогнозов!
Расчетов всяческих не ждя,
Пиши, что по ночам морозы,
А в тучах прячутся не грозы,
А «в виде снега и дождя».

Я эти скромные заметы
Дарю синоптикам, как друг,
Чтоб наблюдения поэта
Могли способствовать расцвету
Их синоптических наук.

* * *

«Гармония царит в природе» —
Вот это правильный момент!
Гармония у нас в народе
Наипервейший инструмент.

В колхозе или при заводе
Всегда она тревожит даль.
Гармония царит в природе,
А не какой-нибудь рояль!

* * *

Прочел, что есть на солнце пятна,
И стало как-то неприятно.
Выходит, что через печать
Подвергли критике светило.
По-моему, вернее б было
Об этом факте умолчать.

* * *

Философических начал
Во мне полно. Терзают думы.
И потому хожу угрюмый,
Что поздно мыслить я начал.

* * *

Сейчас в литературе тесно.
Любой, что хочет — то творит.
Но эта уйма неизвестных
Известным мало чем вредит.

Иное дело было прежде:
Вольтер, Флобер, Гомер, Орфей...
И подавали всем надежды
Толстые — Лев и Алексей.

Таланты моего масштаба!
И если б я тогда писал,
Возможно, скоро так не стал бы
Тем, кем теперь так скоро стал.

* * *

Солнце всходит и заходит —
Это наша жизнь проходит.

* * *

Коллеги классики! Внемлите!
Я призываю вас худеть.
Давно в немалом дефиците
Граниты, мраморы и медь.

А в свете этого момента
Необходимо думать нам,
Как уберечь на монументах
Хотя-бы лишний килограмм.

И так скажу я (разумая
Экономический аспект):
Чем классик мельче — тем крупнее
Его хозяйственный эффект!

* * *

В литературе
Тот слывет отважным,
Кто пишет ямбом
Трехэтажным!

ОСТОРОЖНО, ПЛАГИАТ!

Физик, расщепивший атом,
Возгордившийся потом,
Занимался плагиатом,
И не ведая о том,
Что идет вослед приматам.
Те, гораздо раньше всех,
Расщепляли пусть
 не атом,
А кокосовый орех!

ЛЮБИТЕЛЬ ПОЭЗИИ В ШАХМАТОВЕ

Здесь пустынно и одиноко
Мокнут сизые зелена.
Это дерево знало Блока,—
Пусть узнает теперь меня!

И в волнении и в экстазе
Вырезаю через тире
Эпохальное «Маня — Вася»
На глубокой его коре!

Поэзия: Альманах. Вып. 46.— М.: Мол. гвардия.
П 67 1986.— 191 [1] с., ил.

1 р. 30 к. 70 000 экз.

Номер открывает рубрика «Всегда в пути», в которой со стихами выступают известные советские поэты Е. Винокуров, Г. Горбовский, В. Кочетков, В. Костров, Л. Васильева, А. Балин и другие. Молодых поэтов представляет критик А. Казинцев. В разделе «Наши публикации» читатель познакомится с неопубликованными стихами и письмами С. Маркова, Л. Мартынова, А. Прасолова, А. Люкина. Раздел «Мастерская» знакомит читателя с творчеством Н. Заболоцкого и М. Дудина. В рубрике «У нас в гостях» публикуются стихи поэтов Иркутска и Пензы. В номере читатели познакомятся и с воспоминаниями о Ксении Некрасовой и с заметками А. Боброва о поэзии. Зарубежная поэзия представлена стихами Вольтера, Эмили Дикинсон. Завершается выпуск юмористическим разделом «Парнас, Пегас и кое-что про нас...».

П 4701000000—320
078(02)—86 239—86

ББК 84(0)6

ИБ № 4647

ПОЭЗИЯ. Вып. 46

Редакторы **Н. Старшинов, Г. Красников**
Художники **Р. Гутгузо, Л. Немировский**
Художественный редактор **Е. Кондратенко**
Технический редактор **Н. Теплякова**
Корректор **Т. Крысанова**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отзывы об альманахе присылайте по адресу: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», альманах «Поэзия».

Сдано в набор 26.06.86. Подписано в печать 27.11.86. А08322. Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,0. Усл. кр.-отт. 24,5. Уч.-изд. л. 14,7. Тираж 70 000 экз. Цена 1 р. 30 к. Заказ 1461.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ